

ДМИТРИЙ САФОНОВ



ШЕРИФ

Дмитрий Сафонов

Шериф

«Сафонов Дмитрий Геннадьевич»

2005

Сафонов Д. Г.

Шериф / Д. Г. Сафонов — «Сафонов Дмитрий Геннадьевич»,
2005

ISBN 5-93556-458-0

Молодой врач Оскар Пинт встречает девушку – загадочную и обворожительную. На следующий день она бесследно исчезает. Знак, оставленный ею, приводит Пинта в маленький городок с красивым названием Горная Долина. Но, как известно, Большое Зло живет именно в маленьких городках. И каждый из них хранит свою тайну... Сумеет ли доктор разгадать эту тайну и спасти город от нависшего над ним Проклятия? У него есть только один день. В полночь придет неведомая могущественная сила, призванная уничтожить все на своем пути и завладеть ТЕМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ. И от чего зависит очень многое...

ISBN 5-93556-458-0

© Сафонов Д. Г., 2005
© Сафонов Дмитрий
Геннадьевич, 2005

Дмитрий Сафонов Шериф

Кирилл Баженов по прозвищу Шериф сидел за рулем милицейского уазика, стоявшего неподалеку от перрона, и ждал.

«Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, – думал он. – Но по мне, уж лучше немногого подождать, чем потом догонять. Надо проверить этого доктора, выяснить, чем он дышит, а там… А там видно будет. Не исключено, что сразу после проверки – как это уже бывало не раз – он соберет свои манатки и рванет обратно, туда, откуда приехал».

Шериф лукавил. «Бывало не раз…» Наоборот, ни разу еще не было по-другому. Он разогнал всех дачников, лишив молочниц пусты небольшого, но все же стабильного заработка. Он так испугал нового агронома, что несчастный бежал без оглядки, бросив на дороге свой обшарпанный фиброзный чемодан. А последний из тех, кого он встречал, зоотехник, даже отказался сесть к нему в машину: видимо, все заранее прочитал в глазах Шерифа.

И тем не менее это повторялось снова и снова: Баженов никого не пускал в Горную Долину без проверки.

Прошло уже десять лет с тех пор, когда все это случилось… Другой бы на его месте давно успокоился, но только не он.

А для чего еще нужен Шериф, кроме как охранять покой граждан? Разве не это его главная обязанность? Ну а если он иногда слегка и перегибал палку… Что поделаешь, так не бывает: чтобы и пиво выпить, и пену не сдуть. Так не бывает.

На плоское лобовое стекло, разделенное посередине старомодной перекладиной, упали крупные капли дождя, спустя мгновение они гулко застучали по крыше, ощущение такое, словно сидишь в большом барабане во время рок-концерта.

Черт, неужели им там, наверху, все мало? Льют и льют целый день. Может, они неспроста так стараются, вот будет номер, если хмыри из небесной канцелярии пришлют счет за воду!

Баженов взглянул на часы: до прихода поезда еще десять минут. Он достал сигарету, чиркнул спичкой и сложил руки аккуратной лодочкой – одна из немногих полезных вещей, которым научил его папаша. Да, про отца все так и говорили: «Сашка Баженов может прикурить с одной спички на любом ветру». Конечно, еще он умел замечательно пить водку, но подобных мастеров в Горной Долине всегда хватало. А вот прикуривать на любом ветру… У Шерифа это в крови. Он всегда прикурит – на любом ветру, если вы, конечно, понимаете, о чем идет речь.

Вот так же он поступит и с новым доктором – прикурит его, как сигарету, да не просто так, а с одной спички. Ну что такое докторишко по сравнению с тишиной и покоем в Горной Долине? Да ничего.

Правда, Тамбовцев, старый хрен, строго-настрого запретил Шерифу выбрасывать свой излюбленный трюк с проверкой. Николаевича можно понять: руки не те, глаза не те, – ему необходим молодой помощник. Но и Шериф ошибиться не должен: помощник помощнику рознь.

Тамбовцев предупредил его заранее:

– Кирилл, к нам едет новый врач. Наконец-то я смогу уйти на покой. Надоели мне эти флюсы и фурункулы. – (Ага, уйдешь ты! А где спирт будешь брать? За столько лет небось привык к медицинскому. Халявному.) – Все согласовано, получено подтверждение из врачебной ассоциации – человек грамотный, надежный. Ты только, Кирюша, не спугни его своими дурацкими фокусами! Ты тоже хороший парень, но… у тебя ведь – дыра в голове. Остынь. Хватит уже. Лады?

Шериф выслушал, покивал. Согласен, мол. Схитрил, чтобы старый пень отвязался.

Но... Правило есть правило... По-другому нельзя. Этак чуть расслабишься, и ОН вернется.

Нет, пропустить без проверки – да кого угодно, хоть папу римского в обнимку с Патриархом Всея Руси – он не может. И не должен! Это его обязанность – не пускать. И не пустит, будьте уверены!

Внезапно раздалось громкое шипение, затем – высокий режущий звук, от которого внизу живота все сжалось, и наконец – громкое, неразборчивое бурчание, сопровождавшееся оглушительным треском, – будто бы кто-то вел прямой репортаж с электрического стула. Вся эта какофония сыпалась из серебристого громкоговорителя, напоминавшего перевернутую урну. Без привычки невозможно было разобрать ни слова, но Баженов понял сразу.

«Пригородный поезд сообщением Александрийск – Ковель прибывает на первый путь».

Естественно, на первый. А на какой же еще – он тут всего один.

Поезд из Александрийска до Ковеля ходил теперь редко – два раза в неделю. Чаще гонять старую «кукушку» с четырьмя зелеными вагончиками не было смысла – никто сюда не ехал. Да и кто, будучи в здравом уме, поперся бы в такую глушь? —

Тем более непонятно, что этот доктор решил забраться так далеко: от Ковеля до Горной Долины – еще двадцать километров по разбитой дороге, петляющей в лесу между деревьями, как горнолыжная трасса в Швейцарских Альпах.

Нет, все это очень подозрительно. А подозрительных личностей мы встречаем сами. И пусть кто-нибудь попробует упрекнуть меня в недостатке радужия!

Шериф оглянулся на заднее сиденье: там, замотанное в старые промасленные тряпки, лежало помповое ружье. «Рысь». Восемь зарядов – семь в магазине и один в стволе.

Картечь – это вам не табельный ПМ. Восемь дырок – и каждая величиной с блюдце. Милости прошу к нашему шалашу, дорогой доктор!

Баженов выглянул в окошко: дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Впрочем, это еще ни о чем не говорило: он снова мог пойти в любую минуту.

Ну-ка! Какой, интересно, этот доктор?

К завалу из выкрашенных в черно-белые полосы шпал, обозначавших конец пути, медленно подполз зеленый тепловозик, устало отдуваясь и бренча суставчатым телом. Раздался глубокий вздох – воздух вышел из тормозных цилиндров, открылись автоматические двери, и на перрон стали сходить пассажиры.

Местных наметанный глаз Шерифа отличал незамедлительно. Было в них что-то такое... обреченное, что ли. Вялые покатые плечи и сутулые спины. На женщин вообще можно было не смотреть – при условии, что нового доктора зовут не Боря, и фамилия у него – не Моисеев.

Баженов почему-то думал, что человек, которого он встречает, выйдет последним. Он поставил себя на его место и понял, что поступил бы так же. Он бы пропустил всех и вышел последним.

Так и случилось.

* * *

До того самого момента, когда поезд замедлил ход и стал притормаживать, Пинт отказывался верить, что все это происходит с ним, здесь и сейчас, – очень уж это походило на наваждение. Вот уже три месяца он чувствовал себя глупой глазастой рыбой в большом круглом аквариуме: очертания окружающих предметов нечетки и расплывчаты, свет дрожит на гладкой поверхности, играя всеми цветами радуги, грань между реальностью и вымыслом исчезла, растворилась в прозрачности стекла.

Иногда он спрашивал себя: что он делает? Он, окончивший медицинский факультет с отличием. Он, закончивший с отличием ординатуру по психиатрии. Наконец, он, которого

ждали... именно ждали с распластанными объятиями – в аспирантуре. И вдруг что-то случается, происходит некое событие, странное и яркое, как вспышка молнии, и молодой психиатр, подававший большие надежды, отправляется в больницу Горной Долины, где, кроме бинта и зеленки, наверняка ничего нет.

И... зачем? Ответа на этот вопрос он не знал. Он просто следовал указаниям, записанным на обороте маленькой черно-белой фотокарточки размером три на четыре, лежавшей у него в бумажнике, в отдельном кармашке из прозрачного пластика. То есть он худо-бедно мог ответить на вопрос: почему? Потому что так написано. Потому что я в это верю.

Но на вопрос «зачем?» ответа пока не было. И он не рассчитывал получить его в ближайшее время. «Мельница Божья мелет верно, но медленно», – почему-то вспомнилось ему.

Или там наоборот – «медленно, но верно»? Библейские мудрости тем и хороши, что они абсолютны. Их можно выворачивать наизнанку, и все равно, покопавшись, найдешь смысл.

То, что с ним произошло, было похоже на внезапное озарение... В противном случае пришлось бы признать, что он слишком рано подцепил профессиональную болезнь психиатров. Помните анекдот: «Если в одну палату посадить психиатра и пациента, считающего себя Наполеоном, то еще неизвестно, кто оттуда выйдет через год – два здоровых человека или два Наполеона».

С другой стороны, если смотреть на вещи шире: в Горной Долине тоже живут люди и там тоже должен кто-то работать. Почему бы ему не провести там... Ну, скажем, год. Как ни крути, это неплохая практика. Опыт. В памяти сразу всплывают «Записки врача» Вересаева, ранние рассказы Булгакова... Романтика, одним словом.

Когда про тридцатилетнего человека говорят, что он – романтик, это на самом деле означает, что он просто мудак. Это – такая мягкая форма слова «мудак» для великовозрастных кретинов.

Он помолчал, прислушиваясь к внутреннему голосу. Трудно было не согласиться. Правда, у Пинта оставался последний довод. Аргумент в пользу того, что он все делает правильно. Этот довод лежал в прозрачном пластиковом кармашке бумажника. И, хотя жизнь Пинта все больше и больше походила на странный затянувшийся сон, тем не менее кусочек фотобумаги размером три на четыре никуда не испарялся, он продолжал оставаться материальным, вещественным. Его можно было потрогать и снова ощутить связь с реальностью. Или же напротив – сказать себе: «Да, парень! Похоже, ты влип. Этот кусок картона крепко засел в твоих мозгах, как рыболовный крючок – в пальце. И теперь ты никуда не денешься. Крючок просто так не вытащить, его можно только вырезать». Проблема в том, что и то и другое было верно.

Поезд еще только подъезжал к Ковелю, а коридор и тамбур уже были забиты. Какой-то небритый мужичок в кителе непонятного цвета, без нашивок и знаков различия, из разорванной подмышки торчит грязная вата, бабка, сухая и высокая, с неожиданно круглым и розовым лицом, на согнутой руке – корзина с пищащими желтыми комочками (то ли цыплята, то ли утят, Пинт не был силен в птицеводстве), двое мальчиков, смуглых и серьеznых, – все торопились поскорее выйти. Почему – для Пинта оставалось загадкой. Можно подумать, в родном Ковеле жизнь кругом кипела и бурлила, и они боялись пропустить хотя бы минуту. Собственно, такое происходило не только в Ковеле – повсюду, где ему приходилось бывать, даже в тех местах, где торопиться просто некуда.

Пинт же старался никогда не спешить. Он достал чемодан и небольшой потертый саквояж из грубой свиной кожи, поставил чемодан в проход, а саквояж положил на колени и стал ждать остановки.

На станции он вышел последним.

Дощатый настил перрона напоминал рот старика: всюду зияли глубокие щели, и даже те доски, что еще чудом держались, угрожающе прогибались и противно скрипели при каждом

шаге. Пассажиры успели разбежаться кто куда, как тараканы, и Пинт остался на перроне один. Во врачебной ассоциации обещали, что в Ковеле его будет ждать встречающий, иначе до Горной Долины не добраться, но пока Пинт никого не видел. Невдалеке, правда, стоял узик цвета хаки с голубой полосой на борту, на голубом фоне белыми буквами было выведено: «МИЛИЦИЯ». Однако из уазика никто не выбежал с букетом алых роз и бутылкой шампанского наперевес.

Кажется, все идет, как надо. Начало было интересным. Продолжение – еще лучше. Этот заматеревший Мальчик-с-Пальчик в густом темном лесу, куда его завели злодеи родители. Вот только у мальчика отказали мозги, и он не набрал вовремя камешков, чтобы пометить дорогу. Теперь непонятно, как ему вернуться назад. Ну что ж? Будем ждать.

Пинт отошел под навес – слабая защита в случае дождя: возрастом и крепостью он не уступает настилу, разница лишь в том, что настил может в любую минуту провалиться, а навес – обвалиться.

Да смилостивится надо мной Господь, он не допустит, чтобы – эти два неприятных события произошли одновременно!

Громко хлопнула дверца машины – с характерным жестяным звуком. Пинт обернулся: из уазика вышел человек и решительно направился к нему.

Сказать, что человек выглядел несколько необычно – значило не сказать ничего. Мешковатые штаны из плотной ткани цвета хаки, застиранная военная рубашка, стоптанные ковбойские сапоги и широкополая шляпа – такие, кажется, носят в Техасе? Да, именно там. И еще, видимо, в Горной Долине.

Пинт поймал себя на мысли, что этот человек ему кого-то напоминает. Кого-то из ненастоящей жизни. Вот только кого?

Человек в ковбойских сапогах подошел ближе и осведомился:

– Вы – доктор?

– Точно, – кивнул Пинт. – Меня зовут Оскар Пинт. Я еду в Горную Долину. В ассоциации пообещали, что в Ковеле меня встретят...

– Так и есть, док! Это я вас встречаю. Моя фамилия-Баженов, но все зовут меня Шериф.

Мужчины смотрели друг на друга настороженно, ни один не протягивал другому руку, и не потому, может быть, что не хотел – просто опасался сделать это первым.

– А-а-а, понимаю. Наверное, вас зовут Шерифом из-за шляпы? Или из-за сапог? – В голосе Пинта звучало дружелюбие. И капелька иронии. Самая маленькая.

– Нет, вы неправильно понимаете, – снисходительно усмехнулся Баженов. – Меня зовут Шерифом потому, что я – Шериф. – Он пожал плечами, словно досадуя на то, что приходится объяснять такие очевидные вещи.

Эта усмешка! Да! Она промелькнула перед мысленным взором Пинта подобно вспышке, и он сразу вспомнил, на кого похож странный Шериф. Ну конечно же: Чак Норрис, техасский рейнджер. Для полного сходства не хватало рыжей бороды, замшевых перчаток и никелированной звезды на рубахе. А в остальном – просто вылитый: красное лицо, крепкие плечи и нарочито усталый взгляд исподлобья.

Пинту понравилось обращение «док». Это тоже было по-техасски. Являлось частью образа.

Что и говорить? Он, конечно, с приветом, но, по крайней мере, выглядит органично. Добро пожаловать, «док»! Ты сам сюда забрался. Ты сам этого хотел.

Баженов стоял метрах в двух от Пинта и сокращать эту дистанцию не намеревался. Более того, завидев движение Пинта – тот просто хотел протянуть руку для рукопожатия, как это принято у всех нормальных мужчин, – Баженов отступил еще на один шаг и со скучающим видом стал рассматривать тепловоз. Пинт понял свою ошибку и руку убрал.

Да, здесь все не так просто... Посмотрим, что будет дальше.

– Пойдемте, док! – Баженов махнул рукой в сторону уазика. – Боюсь, что скоро начнется дождь. Я не люблю ездить в дождь. А вы?

– Я? – Пинт поднял чемодан и пошел к машине. – Честно говоря, я вообще не умею водить. Но в одном я с вами совершенно согласен: в дождь хорошо только спать. Все остальное лучше делать в сухую погоду.

– Ха! – Шериф ухмыльнулся, в глазах мелькнула хитринка. – В дождь очень хорошо сидеть в бане. Точнее, не в бане, а в предбаннике, за столом из неструганых досок, завернувшись в простыню. На столе чтобы – водочка, огурчики, помидорчики, ну, и… Не одному чтобы. И смотреть в окно, как холодные струи лупят по кочанам капусты…

Пинт опешил. Вот те на! Не ожидал у техасского рейнджера приступа среднерусского поэтического настроения.

Он на какое-то мгновение даже застыл на месте, но вовремя спохватился и поспешил за Шерифом: кажется, с неба опять закапало, как из неисправного водопроводного крана. Пока не очень сильно, но ведь и не по капусте.

Пинт положил свой багаж на заднее сиденье:

– Что это у вас здесь лежит, Шериф? Можно отодвинуть?

Баженов бросил взгляд на продолговатый сверток в промасленных тряпках.

– Это так… Пригодится. Валяйте, док! Ставьте чемодан на пол – места хватит. А саквойж можете взять на колени. У вас там револьвер?

У Баженова была странная манера говорить: с ходу и не разберешь, шутит он или говорит серьезно. Правда, иногда он улыбался, облегчая собеседнику задачу, но на этот раз улыбки не последовало.

– Револьвер? – переспросил Пинт. – Нет, я оставил его дома.

– Зря. Оружие нужно всегда держать при себе. – И снова, ни тени улыбки.

– Ну… Я же – не Шериф, – попробовал отшутиться Пинт. – Мне оружие ни к чему.

Обычное интеллигентское заблуждение. Пройдет совсем немного времени, и он поймет, что бывают такие случаи, когда оружие просто необходимо.

Баженов сел за руль, огромный, как штурвал крейсерской яхты, повернул ключ в замке зажигания, и допотопный двигатель заработал ровно и уверенно. Баженов со скрежетом включил первую передачу, машина, дернувшись, тронулась с места.

Они выехали на узкую горбатую дорогу. Шериф включил фары.

Небо, куда ни взгляни, одинаково свинцово-серое, вело себя, как лоскутное одеяло: то дождь ударял по стеклам и крыше с новой силой, а то, стоило проехать полсотни метров, под колеса стелился сухой асфальт. Точнее, то, что когда-то было асфальтом.

Наверное, это особенность местного климата, решил Пинт.

Было девятнадцатое августа, три часа пополудни, но из-за того, что солнце замаскировалось в серой пелене так усердно, что и не разобрать, в какой оно стороне, казалось, будто бы на землю опустились вечерние сумерки.

Они быстро миновали Ковель – на это ушло десять минут. Покосившиеся бревенчатые домишкы, низкие и убогие, с голубыми наличниками. Иногда попадались дома покрепче – из дешевого силикатного кирпича, с белым тюлем на окнах и непременным гаражом в глубине участка. На окраине городка Пинт даже увидел несколько двухэтажных домов, они стояли ровно, как солдаты на плацу, между ними притулились детские качели и лавочки, сваренные из труб и покрашенные никогда не просыпающим «Кузбасс-лаком». В общем, Ковель производил гнетущее впечатление, он словно говорил своим жителям: валите отсюда, да поскорее, здесь ловить нечего.

На выезде из Ковеля стоял столб. Просто голый столб, и ничего больше. Когда-то на нем висел указатель, но сейчас – только ржавые перекладины и петли.

– Скоро приедем, – сказал Шериф. – Теперь уже недалеко.

Дорога, петляя, уходила в лес. Кроны деревьев смыкались над старым асфальтом, испещренным глубокими трещинами, из трещин торчала жесткая зеленая трава.

Уазик тряслось на каждой кочке – особенность рессорной подвески, – и Пинт покрепче вжался в сиденье, чтобы на очередной колдобине не протаранить головой крышу.

Так они ехали еще минут пятнадцать. Шериф молчал, а Пинт не мог найти подходящую тему для беседы. Внезапно он почувствовал, что машина стала замедлять ход: рывками и с неприятным скрипом, что поделаешь – старинные барабанные тормоза, наследие советского милитаризма.

Но не это его насторожило, а какое-то беспокойство, исходившее от Баженова, может быть, даже нетерпение.

– В чем дело, Шериф? Мы останавливаемся?..

Уазик свернул с дороги (с того, что здесь называлось дорогой) и с размаху плюхнулся в тракторную колею, уходящую влево, в глубь леса.

Ровный гул двигателя и «раздатки» сменился натужным воем, но уазик – хвала Создателю и государственному военному заказу! – и не думал сдаваться. Перекатываясь с кочки на кочку, он упрямо полз вперед.

Наконец они отъехали достаточно далеко.

Достаточно далеко, решил Баженов, для того, чтобы все было о'кей! Все в порядке, ребята! Любимый город может спать спокойно – Шериф на посту. И он знает, что делает.

Шериф вышел из машины, открыл дверцу позади водительского сиденья и достал тот самый продолговатый предмет.

– Выходи, док! – Он обходил машину со стороны капота, и сквозь лобовое стекло Пинт мог видеть, что на ходу Баженов разворачивает тряпки. – Надо поговорить!

Выбора не было. Точнее, приемлемого выбора не было. Пинт ступил на мокрую траву:

– Мы уже перешли на «ты»? Вообще-то я не возражаю, хотя мы еще не успели посидеть в бане.

– Предбаннике, док. Еще посидим, если все будет нормально.

– А что, собственно говоря, может быть ненормально? – спросил Пинт.

Но, похоже, ответа и не требовалось. Он уже понял, что здесь ненормально. Что скрывалось под промасленными тряпками. Пинт это понял за секунду до того, как тряпки полетели в сторону.

В руках у Шерифа оказалось ружье – короткое, со складным прикладом. Психиатр из Александрийска никогда не видел такого, но... От этого оно не становилось менее опасным.

Шериф отступил назад, под какой-то раскидистый куст, шляпой он задел нижние ветки, и они разразились потоком серебристых капель.

Раздались два щелчка: один погромче – это Баженов разложил приклад и упер его в локтевой сгиб, другой, потише, означал, что Шериф снял ружье с предохранителя.

В грудь Пинту уперлись три черные бездонные дыры: расширившиеся до предела зрачки Шерифа и ствол – смертоносная труба двенадцатого калибра, игравшая только одну мелодию – прелюдию к похоронному маршу.

– В чем дело, Шериф? – Пинт, как психиатр, понимал, что в такой ситуации очень важно не показать свой страх. Но одно дело – понимать, и совсем другое – держать себя в руках, находясь под прицелом. В темном глухом лесу, где и тела-то твоего никто не найдет: ведь если есть ружье, значит, наверняка есть и лопата. Ружье появилось на свет в первом акте, в последнем оно – обязательно, таковы законы жанра! – должно выстрелить... А уж лопата – это просто синоним слова « занавес ».

– Видишь ли, док, – Шериф говорил медленно, слегка нараспев, – Бог создал Добро и Бог создал Зло...

– Оставим это спорное утверждение на вашей совести, но в целом я согласен...

Пинт поймал себя на том, что действует ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Несмотря ни на что, он старается действовать ПРОФЕССИОНАЛЬНО: говорит с Шерифом, как с пациентом, одолеваемым навязчивыми идеями, выражаясь на врачебном жаргоне – «качет маятник».

А что, уважаемые коллеги, неужели кто-нибудь из вас будет возражать против того факта, что под этой шляпой шевелится целый клубок навязчивых идей? Я бы не стал, коллеги, торопиться с выводами, ох, не стал бы! Налицо мания убийства, немотивированного, заметьте, убийства. Попрошу так и записать в истории болезни пациента... как бишь его там? Баженова? Ну да, именно его.

– Не надо меня перебивать, док.

– Да, конечно. Больше не буду.

Пинт словно увидел происходящее со стороны и, несмотря на свое отчаянное положение – хуже губернаторского, как говорили в старых книжках, – ощутил некий комичный абсурд происходящего.

Благородный Шериф лицом к лицу с матерым разбойником – у бандита самый большой ствол на Западе... вот только он забыл его дома. Лучше бы он забыл надеть штаны – это смотрелось бы не так глупо.

– Так вот, – продолжал Шериф, – Бог создал Добро и Бог создал Зло. Тем самым он дал человеку свободу выбора: хочешь – твори Добро, не хочешь – сей Зло.

– И да воздастся тебе сторицей... Аминь! – пробормотал Пинт, тихо, чтобы не рассердить Баженова.

– Штука в том, что порой Зло носит личину: до поры до времени, но рано или поздно...

Вот чертов Шериф! Как красиво излагает: «Добро» – «Зло», «до поры» – «до времени», «рано» – «поздно». Ему надо было в семинарию податься, а не в рейнджеры. Неужели все действительно настолько глупо в этой жизни? Неужели судьба привела меня сюда, чтобы я сгнил в безымянной могиле в безымянном лесу? Не может же такого быть!

Баженов говорил и слегка раскачивался, словно заклинатель змей.

– Но рано или поздно должен найтись человек, который сбросит эту личину и явит миру истинное лицо скрывающегося под ней. Так вот: я – такой человек.

Коллеги, вношу поправку! Добавьте, пожалуйста, в историю болезни: «Мания величия». Даже так: религиозный бред на фоне мании величия. Наличие сверхценных идей и наверняка – в этом мы сейчас убедимся – внутренние голоса императивного характера. У кого готов диагноз? Нет? А у меня готов! Запишите, пожалуйста...

– Здесь Я решаю, кого пустить в Горную Долину, а кого...

Выразительная пауза, ничего не скажешь. Какая там семинария? Он бы и на театральных подмостках неплохо смотрелся.

– ...не пустить. Поэтому каждый должен пройти проверку. Я называю это – проверкой Шерифа. Но сначала...

О, а вот это уже больше смахивает на любовный акт: сначала – прелюдия, остальное – потом.

– Но сначала покажи мне свои документы, док. Ну? – Шериф выжидательно поднял брови, так, что шляпа поползла куда-то к затылку.

– Документы? Конечно.

– И не делай резких движений.

– Нет-нет, что вы, что вы! Я же сказал, что оставил револьвер дома.

И зря! В этом-то он точно был прав. Оружие надо всегда иметь при себе.

Пинт медленно расстегнул пиджак, отодвинул в сторону левую полу. Затем осторожно, двумя пальцами – это он видел в каком-то полицейском боевике – полез во внутренний карман, где лежали документы. Пальцы не слушались и все время попадали мимо прорези, но наконец

он ухватил ставшую вдруг липкой кожу – это пот, руки вспотели, вот обложка и стала липкой – и вытащил паспорт. А вместе с ним и бумажник.

– Брось мне их сюда!

Пинт переложил бумажник в левую руку, а правой бросил Шерифу паспорт.

– Что у тебя в руке?

– Бумажник. Там только деньги, все документы – в паспорте. Я так понял, вы меня проверяете, а не грабите. Но если нужно... – Он протянул бумажник.

– Оставь себе! – презрительно сказал Шериф. – Дело не в деньгах.

«Очень жаль, – подумал Пинт. – Может быть, тогда все было бы намного проще. Честно говоря, не знаю такого грабителя, который стал бы убивать из-за двух пачек пельменей – на большее моих денег и не хватило бы. Причем не самых хороших пельменей. Даже идиоту понятно, что это неравноценный обмен: тратить патроны для того, чтобы заработать гастрит».

Баженов, не спуская Пинта с прицела, поднял паспорт, поднес его к глазам и стал читать:

– Пинт. Оскар Карлович. Еврей, что ли? – строго спросил он.

Пинт пожал плечами:

– Сколько себя помню, всегда возникает такой вопрос. Если быть кратким, то – нет. Ну а подробнее – как-нибудь в другой раз, когда будет побольше времени.

Баженов посмотрел на него. Он испытывал смешанные чувства: с одной стороны, ему, безусловно, нравилось, как Пинт держится, он не мог припомнить случая, чтобы кто-то так достойно держался. С другой стороны, все-таки был ОДИН такой. Именно это его и настороживало. Потому что ТОТ, из-за которого все и началось, из-за которого у молодого и благодушного участкового появилась, по выражению Тамбовцева, «дыра в голове», тоже вел себя неплохо. Пожалуй, еще более смело. И вызывающе. Да, вызывающе. Дерзко.

– Ты не боишься, док? – Сейчас Шериф напоминал кота, играющего с мышью – та же плотоядная и уверенная улыбка, глаза ласково прищурены, но обманчивая мягкость лапы таит острые кинжалы когтей.

– Черт побери, Шериф! Конечно, боюсь, – честно ответил Пинт. – Думаю, любой бы на моем месте испугался. Просто...

«Просто я знаю, что это не финал. Ты еще не сказал, чего от меня хочешь. Твой голос звучит ровно, движения плавные... Одним словом, ты себя контролируешь. И я тоже стараюсь – держу себя в руках. Гнев, паника, страх... сильные чувства подобны лавине. Стоит одному из нас дать слабину – и пиши пропало, дальше все пойдет по нарастающей. И закончится – но не в мою пользу. Поэтому...»

– Что «просто»?

– Просто я жду продолжения. Вы производите впечатление человека разумного, у вас наверняка есть веская причина для такого поведения. А я никак не могу уяснить суть ваших претензий ко мне. В конце концов, мы едва знакомы, и нам нечего делить, это я точно знаю. Неужели все дело в моей фамилии?

– Конечно, нет, док, – согласился Шериф. Спокойный тон Пинта заставил и его немного успокоиться. – Фамилия тут ни при чем. Хотя у тебя она довольно странная.

– Что поделать? Я привык и менять ее не собираюсь. – Он широко развел руки в стороны. И вообще, он старался держаться ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕ, чтобы не спровоцировать Шерифа на случайный выстрел. – Но если дело не в фамилии, в чем же тогда?

– Видишь ли, док... – Шериф замялся: он еще ни разу не объяснял проверяемым, с какой целью происходит проверка. Стоит ли это делать сейчас? Но, видимо, Пинт не зря окончил ординатуру с отличием, это выглядело странно, почти невероятно, но он сумел расположить к себе Шерифа. «Пожалуй, вреда не будет, – подумал Баженов, – если я – в двух словах, не касаясь подробностей, – только намекну, что у меня действительно ЕСТЬ веская причина». Он почему-то не хотел выглядеть парнем с «дырой в голове». Раньше ему было наплевать, а

теперь – не хотел. – Очень часто человек оказывается не тем, за кого себя выдает. В человеке легко ошибиться. Однажды, – голос у Шерифа едва заметно дрогнул. Пинт даже не заметил – скорее почувствовал это, – однажды я совершил страшную ошибку. И с того момента моя жизнь превратилась в ад. И не только моя, вот в чем вся штука, док.

Баженов надолго замолчал. Молчал и Пинт. В такую минуту лучше ничего не говорить.

– Я, – продолжал Баженов, и было видно, что слова даются ему нелегко, – очень боюсь ошибиться снова. Ничего на свете так не боюсь, как этого.

Пинт сочувственно покивал головой – старый трюк психиатров, они делают это машинально, словно побуждая собеседника: «Давай, выкладывай все до конца!», а сами зорко следят за его реакцией, готовые в любой момент направить забуксовавший разговор в нужное русло.

– Чем я могу помочь вам, Шериф? Можете рассчитывать на любое содействие.

Пинт словно наблюдал за собой со стороны. Хотя его врачебный опыт был невелик, но такое отстраненное наблюдение за собой уже успело войти в привычку.

Этому трюку Пинта научил Андрей Геннадьевич Надточий, его наставник. Пинт ласково называл Надточия Сэнсэем.

– Поймите, уважаемый коллега! – частенько повторял Сэнсэй. – Вылечить психически больного человека нам никогда не удастся. Наша задача – добиться стойкой и продолжительной ремиссии. Мы не лечим, мы наблюдаем. Наблюдаем и предупреждаем общество, когда больной человек становится социально опасным. Это – задача-минимум. Но есть еще задача-максимум. – Тут Надточий пристально смотрел ученику в глаза. – Как бы самим не свихнуться. А для этого надо абстрагироваться от происходящего и наблюдать за собой со стороны. Раздвиньте сознание, выйдите из своего физического тела и летайте вокруг стола, за которым некто в белом халате беседует с пациентом. Вы – чистый разум, чуждый каких-либо эмоций. Вы наблюдаете за всем со стороны. И потому вы – объективны. Стало быть, вы всегда можете адекватно оценить ситуацию и вовремя одернуть себя, если что не так. Вы – как Господь Бог, он тоже наблюдает за всем со стороны, но никогда не встревает в наши мелкие земные дела. На то он и Бог: не потому, что он – Отец-Вседержитель всего сущего, а потому, что он максимально отстранен и, следовательно, объективен. Вы меня правильно понимаете, коллега? А то небось думаете, что у старика совсем крыша поехала, а? – Сэнсэй ласково усмехался, и потом неизменно следовало одно и то же приглашение – тихим свистящим шепотом, и оттого оно становилось еще более заманчивым: – У меня в ординаторской есть бутылка чудесного дистиллята двенадцатилетней выдержки. Не откажите в любезности, составьте компанию.

Сейчас этот навык очень помог Пинту: он следил за собой и Баженовым со стороны и поэтому сумел если не совсем избавиться от страха, то хотя бы немного подавить его. Он видел, что поступает правильно, заметил, как постепенно обмякли напряженные мышцы Шерифа, Баженов даже убрал палец со спускового крючка.

– Я понимаю, ошибки быть не должно – на то вы и Шериф. Поэтому я отношусь ко всему очень серьезно. Проверте, это так. Что я должен сделать, чтобы убедить вас в том, что я не несу никакого зла – ни вам, ни жителям Горной Долины? Скажите, и я сделаю это.

Пинт готов был услышать что угодно, даже какую-нибудь очевидную нелепицу, вроде: «расскажите технику аппендэктомии». Или: «какие виды на урожай озимых ананасов в этом году?». Или даже: «сколько было любовников-японцев у вашей бабушки по материнской линии?» Но он никак не ожидал услышать ТОГО, что сказал Шериф, а потому, опешив, переспросил:

– Что, извините? Что я должен сделать?

Это было просчетом. Глупой ошибкой. На какую-то секунду он растерялся и утратил контроль над собой и ситуацией в целом. Но этой секунды хватило, чтобы Баженов встряхнулся, глаза его снова налились грозной пустотой, движения стали четкими и агрессивными.

«Парень морочит мне голову. Но ничего, слава богу, этот фокус я уже знаю! Не надо прятать туза в рукаве!» – Палец Шерифа вернулся на спусковой крючок, и твердым голосом Баженов произнес:

– Я ХОЧУ, ДОК, ЧТОБЫ ТЫ СНЯЛ СВОИ СРАНЫЕ ШТАНЫ И ОТЛИЛ ПРЯМО ЗДЕСЬ – ТАК, ЧТОБЫ Я ЭТО ВИДЕЛ!

«Вот тебе, бабушка, и Зигмунд Фрейд, – вихрем пронеслось в голове у Пинта. – Старики ведь не зря предупреждал, что все завязано на сексе: мальчик-девочка, палочка-дырочка, ключик-замочек, болтик-гаечка… И даже поезд метро, уходящий в тоннель, навевает какие-то гинекологические ассоциации. Черт! Черт!!»

Он уже не мог взглянуть на происходящее отстранение, Пинта захлестнули эмоции. Инициатива перехвачена, мяч оказывается у соперника, игроки в красных футболках неудержимо рвутся к воротам. Атака развивается – и с флангов, и по центру…

– Давай не тяни! – жестко сказал Шериф. – В этом ничего сложного нет.

«А если у меня простатит?» – вдруг, подумал Пинт. И внутренний голос ехидно ему ответил: «Не приведи господь. В Горной Долине простатит – смертельная болезнь, потому что лечится нетрадиционными шерифскими методами».

– Сейчас, Шериф. Одну минутку! – сказал Пинт.

Вот и докачал свой «маятник». Новый способ психотерапии: в глухом лесу, у пациента в руках – заряженное ружье, а у врача – сморщеный от испуга член, напоминающий лопнувший шарик Пятачка. Ты идиот, Оскар Карлович, если хотел найти общий язык с этим сумасшедшим. Теперь все зависит от способностей твоего мочевого пузыря. Черт, а все-таки интересно, чем его так допек загадочный Некто, у которого были проблемы с мочеиспусканием?

Дрожащими руками он попытался расстегнуть ремень из дешевого кожзаменителя, впрочем, сейчас его стоимость не имела никакого значения. Ремень щелкал, пряжка глухо позвякивала, но наконец Пинту удалось добиться своего.

Баженов молча смотрел: не сводил глаз с несчастного доктора.

А он все-таки неплохо держится. Помнится, агроном так и не успел расстегнуть ширинку, и на его вельветовых штанах появилось большое мокре пятно. Тогда проверка закончилась, едва начавшись. Я опустил ружье, и он, бросив чемодан, помчался сквозь кусты, не разбирая дороги, ломанулся, как молодой олень – от охотника. Вот было смеху! И он никому ничего не рассказал. Ну а что он мог рассказать? Что спятывший Баженов с ружьем в руках заставлял его ссать? И кто бы ему поверил?

Пинт к тому времени уже улучшил достижение агронома, теперь он стоял на изготовку, зажав в руке то, что должно было подвергнуться суворой шерифской проверке.

Ну же, давай, док, мне очень хочется, чтобы ты не оказался ТЕМ САМЫМ засранцем. Я почему-то в этом почти уверен, но лишняя предосторожность не повредит.

Гримаса напряжения исчезла с лица Пинта, черты лица сложились в улыбку облегчения:

– Извольте, Шериф! Сейчас я отолью прямо на ваши замечательные сапоги.

Неожиданно мощная струя – оказывается, он и в самом деле хотел отлить, охваченный адреналином организм настойчиво требовал избавиться от всего лишнего – прочертила в воздухе упругую блестящую дугу и ударила в траву прямо под ногами Баженова, ему даже пришлось отскочить, чтобы не забрызгало сапоги.

Шериф усмехнулся:

– Теперь полный порядок, док. Надеюсь, вы не в обиде?

Непонятно почему, но он снова перешел на «вы». Процедура проверки была унизительна для испытуемого и неприятна самому Шерифу, после нее он всегда чувствовал не то чтобы стыд, но легкую неловкость. И тем не менее проверка была необходима. Другого способа Шериф не знал. Просто не мог придумать. Максимум, что он мог сделать для Пинта – парень и впрямь держался молодцом, – это вернуть ему законное «вы». Заслужил.

– Ну что вы, Шериф. Какие пустяки. Рад, что не подвел вас. По-моему, сегодня я был в ударе. А? Вы не находите?

Они вместе рассмеялись. Правда, в смехе Пинта все еще слышались истерические нотки.

– Ну что, док? Прячь свое хозяйство. Я могу отвезти тебя обратно в Ковель. Ночку где-нибудь перекантуешься, а утром вернешься в Аттександрийск. Расстанемся по-хорошему и обо всем забудем.

Пинт медленно застегивался", он никак не мог справиться с ширинкой.

– Заманчивое предложение, Шериф. Как это мило выглядит со стороны: я приехал из Александрийска только для того, чтобы с комфортом отлить на лоне природы. Точнее – на лоне природы. Так точнее. Верните паспорт.

Он взял документы и положил их в нагрудный карман – туда, где уже покоился бумажник. Дрожь постепенно отхлынула – в колени и кончики пальцев.

– Нет, так дело не пойдет. Боюсь показаться вам неисправимым романтиком, но... Мне НАДО в Горную Долину. Так что если вы закончили и не хотите последовать моему примеру... Собирайтесь, и поехали.

Вообще-то Шериф ожидал чего-то подобного. Этот парень, мягкий на вид, оказался с прочным стержнем внутри. И если он захочет чего-то добиться, будьте уверены, он это сделает. Нельзя не уважать такого парня.

– Поехали, док. Мой экипаж – в вашем распоряжении.

«Мой вертолет полон угрей», – эта веселая бессмыслица из репертуара «Монти-Пайтона» промелькнула в голове у Пинта, заставив его улыбнуться. Похоже, в жизни случаются вещи, еще более бессмысленные, чем угри в вертолете.

Они сели в машину: Шериф за руль, а Пинт – на переднее пассажирское сиденье. Они сидели и просто молчали.

– Док, – наконец сказал Шериф. – Я хочу, чтобы вы всегда помнили одну вещь.

Пинт повернулся к нему и призвано дернул подбородком, это должно было означать: «Ну и какую же?»

– Я все равно буду внимательно следить за вами. И что бы ни случилось, не стройте иллюзий: ружье будет в МОИХ руках.

– Я это понял. Поехали.

Шериф завел двигатель, казалось, он тоже испытывал облегчение оттого, что все более или менее удачно закончилось. ГР-Р-Р-АХХ! – со скрежетом включилась первая, и уазик, сделав на небольшой полянке лихой вираж, весело пополз обратно к дороге. Той, что вела в Горную Долину.

И чем дальше они отъезжали, тем смешнее и незначительнее казалось Пинту это происшествие. Он даже стал мысленно хихикать над собой. Правда, к иронии примешивалось чувство законной гордости: все-таки он держался неплохо.

Он не знал, что на самом деле был на волосок от гибели. Баженов не стал бы дожидаться конца своей дурацкой проверки, он выстрелил бы, не задумываясь.

Он бы выстрелил, если б увидел фотографию. Если бы Пинт засунул ее не в бумажник, а положил, по обыкновению, в паспорт.

Но она лежала в бумажнике.

* * *

Часто бывает так, что события, которым суждено изменить нашу жизнь, уже произошли, просто мы этого еще не знаем и, соответственно, не можем понять прихотливую волю Случая. Колесо Рока, скрипя, сдвинулось с места и, дрожа кривым ободом в бурых разводах (то ли это ржавчина, то ли кровь), набирает скорость. Но мы не слышим этого оглушительного скрипа и

продолжаем жить как ни в чем не бывало, не подозревая, что избраны Провидением – для чего? зачем? – но ИЗБРАНЫ, и последняя буква уже запечатлена на скрижалях судьбы и дымится, высыхая.

Все уже случилось, судьба твоя написана, и нельзя исправить ни строчки. Остается только прочесть ее. И каков будет конец, не знает никто. А тот, кто знает, молчит… И будет молчать всегда.

* * *

Всякий раз, когда Оскар Пинт вспоминал, с чего все началось, и пытался найти точку отсчета, отыскать задним числом знаки судьбы, до той поры неясные или неведомые, он мысленно возвращался в промозглый мартовский день тысяча девятьсот девяносто пятого года.

Оскар Карлович Пинт, ординатор второго года обучения, специализирующийся по психиатрии, возвращался домой после ночного дежурства. Накрапывал холодный весенний дождь, самый противный дождь из всех, какие только можно себе представить. Кое-где под деревьями и у гаражей лежал грязный снег, мутные ручейки змеились по щербатому асфальту и ныряли в решетки канализационных люков, голые холодные ветки били по зонту, когда Пит протискивался через высокие кусты, пытаясь найти дорогу почище.

Он не любил весну и осень. Не любил по совершенно очевидной и прозаической причине: он не умел ходить по грязи. Ему достаточно было пройти двести метров, чтобы ноги сзади от пятки и до колена (особенно почему-то правая) покрылись густыми грязными брызгами. Как это происходило – Пинт не мог объяснить. Почему – понятно, неправильная походка, высоко закидывал ноги и так далее. Но каждый раз, разобрав все это теоретически, он на практике ничего не мог исправить и потому всегда ходил грязный.

Осенью это было еще не так обидно: кружатся желтые, красные, коричневые листья, воздух прозрачен и тих, – преобладающим осенним настроением была светлая печаль, и это хоть как-то примиряло его с грязными брюками.

Но весенней грязи не было оправдания. Мутная вода с разноцветными бензиновыми разводами, щедро сдобренная собачьими экскрементами, фантики, окурки, куски бумаги, – все то, что скрывал до поры снег, вся эта дрянь липла к ботинкам и оказывалась на штанах, и какая тут, к черту, светлая печаль, когда авитаминоз и прыщи на спине?

Наконец Оскар выбрался на более или менее чистое место и пошел вдоль большого дома, первый этаж здания занимали различные заведения и конторы.

Оскар прошел вдоль витрин, смешно прыгая с одного сухого пятачка на другой. В толстых запыленных стеклах мир отражался волнистым, дрожащим. Перед одной дверью стояла ярко-красная машина, поднятая на домкрат, правые колеса были сняты. Пинту пришлось обходить машину, и он чуть удалился от витрины. В этот момент он поднял взгляд и увидел вывеску, которая при ближайшем рассмотрении показалась бы просто нагромождением вертикальных и горизонтальных белых прямоугольников: «Шиномонтаж». Собственно, это было понятно. И рядом – другую. «Фотография».

Фотография… Сколько раз он ходил здесь и ни разу не замечал этой вывески. Он посмотрел внимательнее, ведь он все-таки врач и втайне гордился своей наблюдательностью, могло ли случиться такое, чтобы он каждый день проходил мимо этого места и не замечал вывески «фотография»?

Хотя… Могло, конечно. Последний месяц он старался не ходить пешком, ездил на автобусе – чтобы сберечь последние приличные брюки. Что, если они открылись совсем недавно? В течение этого месяца? Тогда все объяснимо.

Фотография. Весьма кстати. В конце семестра он хотел поступать в аспирантуру и уже начал собирать все необходимые документы. Фотографий не было. Он всегда делал их в

последнюю очередь. Так почему бы не изменить традицию и не сделать все заранее, тем более что время есть?

Оскар колебался. Конечно, выглядел он не ахти. Дождь, волосы мокрые, лежат кое-как, да к тому же устал после дежурства... Но ведь эти фотографии просто подошлют к личному делу, и все. Дальше они никуда не пойдут. И одной проблемой будет меньше, останется только собрать справки.

Он прикинул, сколько у него денег. Негусто, но на фото хватит. И даже останется на пачку пельменей, которую можно растянуть на два дня. А за два дня что-нибудь изменится.

В этом он не ошибся. За два дня действительно многое изменилось. Все.

* * *

Оскар открыл тугую дверь и вошел в помещение, ярко освещенное люминесцентными лампами, расположенными в два ряда под высоким потолком. На полу лежали разобраные картонные коробки, по краям еще сухие и нежно-коричневые, а в центре – уже разбухшие от влаги и скатавшиеся в грязные комки. Справа мерцало большое зеркало, а прямо напротив входа громоздилась внушительная стойка из деревянных панелей, выкрашенных в черный цвет. За стойкой никого не было, но из-за черной портьеры справа от нее доносились какие-то суетливые звуки: не звон, не грохот и не шорох, а нечто среднее.

Оскар огляделся, прокашлялся и медленно снял пальто. Он повесил пальто на вешалку рядом с зеркалом, что-то фальшиво напевая: просто громко окликнуть фотографа казалось ему невежливым, а молча дожидаться, когда он соизволит выйти, – глупо.

Шум за портьерой прекратился. Оскар ждал, что сейчас кто-нибудь выйдет: возможно, старый лысый еврей с очками на покатом лбу и руками, побелевшими от реактивов. Но никто не появился.

Пинт подошел к зеркалу, внимательно оглядев себя. Не критически, но и без видимого удовлетворения. Усталые глаза, осунувшееся лицо. Если бы ему нужна была фотография в полный рост, то крепкая подтянутая фигура немного скрасила бы общую картину, но фото будет размером три на четыре сантиметра, а там разворот плеч не увидишь.

Оскар взглянул на часы – половина двенадцатого. А может, не торопиться? Успею еще сфотографироваться. А сейчас лучше отправиться домой и завалиться спать. Часа на четыре. А вечером можно будет почитать новый журнал по психиатрии... Кстати...

Он так и не успел составить планы на вечер, потому что звякнули латунные кольца на железной перекладине, и портьера раздвинулась.

Позже Оскар пытался в деталях вспомнить внешность человека, вышедшего к нему, и никак не мог этого сделать. Он помнил только сильное впечатление, которое произвел на него владелец фотосалона.

Высокого роста, худой, даже скорее тощий, с прямыми черными волосами, ниспадавшими до плеч, он возник стремительно и замер, уставившись на Пинта. Фотограф был одет странно – по моде художников девятнадцатого века – во что-то очень свободное из тяжелого красного бархата и с таким же бантом на шее, Пинт почему-то подумал, что «это» должно называться кафтаном. Или камзолом. Или черт его знает как.

Несколько мгновений «художник» стоял неподвижно, словно уже фотографировал клиента, но не на пленку, а на сетчатку своих больших черных глаз, казалось, лишенных зрачков, или это было только причудливой игрой света? Пинт почувствовал себя неловко и потому сказал первое, что приходит в голову в таких случаях: самое естественное.

– Здравствуйте!

Фотограф расплылся в широкой улыбке и поспешил выйти из-за стойки. Он откинул верхнюю панель и проскочил в образовавшийся проем, а когда она за его спиной с грохотом

опустилась, то лишь виновато пожал плечами: мол, а что я могу сделать? она всегда так грохочет.

Он подошел к Пинту и протянул узкую ладонь с длинными пальцами.

– Здравствуйте! Вы не представляете, как я рад вас видеть. Заждались! Заждались!

Пинт украдкой окинул взглядом небольшое помещение: про кого этот странный фотограф говорит «заждались»? Он не заметил, чтобы в салоне был кто-то, еще. Или это он себя называет исключительно во множественном числе?

Но фотограф уже взял его под локоть – почтительно, никакой фамильярности – и осторожно увлек в соседнюю комнату, залитую молочно-белым светом. Посередине комнаты стоял низкий табурет, за ним – белый экран из плотной и шершавой материи.

– Присаживайтесь, пожалуйста!

Фотограф махнул рукой: не хуже балерины, танцующей партию умирающего лебедя, – столько было в его движении грации и изящества.

Пинт уселся на табурет. Дежурство выдалось тяжелым, поспать так и не удалось. Да потом еще за завтраком один пациент вознамерился проглотить крутое яйцо целиком, не жуя, и конечно же подавился, чем доставил молодому доктору много хлопот. Оскар улыбнулся, вспомнив этот эпизод, пережитый испуг теперь выглядел комично. Белый свет оказался очень теплым, Оскар почувствовал, что его клонит в сон.

– Не сутультесь! Выпрямите, пожалуйста, спину!

Движение узкой ладони было направлено снизу вверх, словно фотограф подбрасывал в воздух что-то невесомое и очень ценное.

Оскар выпрямил спину и расправил плечи.

– Вот-вот. Хорошо. Теперь головку немного сюда… Еще немного. Вот так.

Фотограф замер, умиротворенный, разглядывая Пинта с затаенной нежностью, будто мать любуется заснувшим младенцем.

Затем он внезапно выхватил из-за спины фотоаппарат и, даже не успев поднести его к лицу, нажал спуск. Яркая вспышка ослепила Оскара, и он непроизвольно зажмурился. Когда он открыл глаза, фотографа в комнатке уже не было.

– Какие фотографии желаете? – донесся приглушенный, словно через подушку, голос.

– Три на четыре, – машинально ответил Пинт, вставая с табурета. Все еще щурясь, он пошел обратно, в главное помещение, откуда дверь вела на улицу. Надел пальто, еще раз посмотрел на себя в зеркало.

Где этот странный фотограф? Куда делся? Платить, интересно…

– Скажите, платить сразу или потом?

Молчание.

Безумец, да еще и альтруист. Точно, они недавно открылись, поэтому я и не замечал этого фотосалона. И, честно говоря, думаю, что скоро закроются. Своим видом и манерами он распугает всех клиентов…

Пинт подошел к стойке:

– Послушайте, я спрашиваю: платить сразу или потом? И снова раздался звон колец, и стремительно, как чертик из табакерки, появился странный фотограф.

– Платить, конечно, сразу. А расплачиваться – потом. Но платить – сразу. С вас шестьдесят рублей.

Оскар тогда пропустил мимо ушей эту бессмыслицу насчет «платить» и «расплачиваться». Его больше волновал вопрос, останется ли ему на пачку пельменей. Пусть даже не самых лучших, таких, где вместо мяса – перемолотые жилы, но ведь есть что-то надо. Он достал из кармана аккуратно сложенную сотню и, тщательно расправив, протянул фотографу:

– Пожалуйста.

Фотограф подмигнул Пинту, пробежался пальцами по кнопкам кассового аппарата, раздался мелодичный звон, и лоток для денег открылся. Фотограф небрежно кинул туда сотенную, достал четыре десятки и вложил их в руку Пинту.

– Завтра, после трех, – проворковал он. – Приходите, все будет готово в лучшем виде.

– Спасибо, – поблагодарил Пинт, убрал деньги и снова вышел под дождь.

По-моему, я поторопился. Мог бы сфотографироваться позже. Теперь тянуть до зарплаты...

Он пришел домой, с трудом заставил себя раздеться, откинулся на кровать. Он спал крепко и снов не видел.

* * *

На следующий день, возвращаясь с работы, он заглянул в салон, чтобы забрать фотографии. Как-никак шестьдесят рублей уплачено, будьте любезны, представьте результат.

Он зашел в салон. Там все было по-прежнему: мокрые картонки под ногами, переливающееся зеркало и пустая стойка.

Пинт подошел к ней и увидел две коробочки, полные готовых отпечатков. Коробки различались по размеру.

Первым его желанием было взять ту коробочку, что поменьше, и найти там свои фотографии, но потом он решил, что невежливо копаться в чужих вещах в отсутствие хозяина.

Хотя, формально, я за них уже заплатил, значит, они мои. Но, правда, не все.

Он прокашлялся, что-то громко сказал, будто бы разговаривая с самим собой, – словом, опять проделал все те нелепые вещи, которые делает любой вежливый человек, пытаясь привлечь к себе внимание.

И вдруг он увидел две полоски фотобумаги, которые лежали отдельно от остальных, не в коробочках, а на столе.

Каждая полоска – шесть фотографий три на четыре. На одной – портреты какой-то кавказской женщины лет тридцати-пятидесяти (после тридцати, как правило, их точный возраст определить довольно трудно), с пышными усами, сросшимися бровями и большим начесом. А на другой... Пинт не мог описать, кто был на другой фотографии, но сразу понял, что это ОНА.

Девушка с косой, с ясными, возможно (насколько можно судить по черно-белому отпечатку), голубыми глазами. Она спокойно смотрела в объектив и слегка улыбалась. Точнее, не улыбалась... Улыбались ее глаза, еле заметные складки вокруг носа, почти невидимые морщинки у наружных уголков глаз... Губы были неподвижны, но...

Оскара поразила магия этого скромного портрета размером три на четыре сантиметра, отпечатанного на матовой бумаге. Он протянул руку и почувствовал что-то вроде покалывания в кончиках пальцев. Еще до того, как он коснулся шершавой бумаги, Оскар понял, что влюблен.

Так он впервые увидел Лизу.

* * *

Снова звяканье колец. «Дежа вю», – подумал Оскар, ожидая увидеть вчерашнего «художника».

Однако вышла женщина, среднего роста, с желтым лицом и редкими волосами, выкрашенными в рыжий цвет, ее черная кофта была усыпана табачным пеплом.

Пинт поздоровался.

– Я за фотографиями. Три на четыре. Ваш коллега сказал, что сегодня они будут готовы.

Женщина, видимо, не собиралась поддерживать беседу. Она беглым взглядом окинула Пинта и стала рыться в той коробочке, что поменьше. Иногда ей казалось, что она нашла нужный снимок, тогда она доставала его и подносила к лицу Оскара для сравнения, но тут же, презрительно сморшившись, бросала обратно в коробку. Пинта смущала эта гримаса, он так и не смог понять, к чему она относится: к его физиономии или к той, что была на фотографии.

– Скажите, пожалуйста, – наконец решился он, – а вот эти два снимка, которые лежат отдельно? Почему?

– Отказные, – бросила женщина. – Никому не нужны.

– А-а-а, – протянул Пинт. – Понятно.

– Вот ваша. – Женщина выдернула наконец из общей стопы одну полоску и бросила на стойку. – Забирайте.

Пинт взял свои фотографии. Ну что ж, он думал, будет хуже. Для личного дела вполне сойдет.

Спасибо…

– На здоровье, – буркнула женщина и скрылась за портьерой.

Изменение было слишком велико. «Отказные». «Никому не нужны». Неправда. Мне нужны.

Он воровато огляделся. У меня, должно быть, глупое выражение лица. Это понятно – первый раз иду на «дело».

Пинт подошел поближе к стойке. В руках он держал свои фотографии и делал вид, будто внимательно их рассматривает.

Сейчас возьму потихоньку, а если она вдруг выйдет и заметит, скажу, что это моя знакомая. Скажу, что передам ей фотографии при встрече.

Он еще раз огляделся. Затем положил свои снимки на стойку, накрыв ими те, которые хотел забрать. Сейчас он напоминал себе вора экстра-класса, пытающегося украдь «Джоконду» из Лувра. Он дрожал и отчаянно трусил вплоть до того самого момента, когда, крепко сжав оба прямоугольника из плотной бумаги, отправил их в глубокий карман своего старого пальто. И тогда страх сменился ликованием.

Он и сам понимал, что это глупо: стащить неизвестно чьи фотографии. Ну и зачем они ему? Что он будет с ними делать? Смешно в тридцать лет быть влюбленным в фотографию три на четыре. Стократ смешнее – человеку его профессии. И тем не менее, он испытывал радость, словно сделал наконец то, что давно должен был сделать.

* * *

Девятнадцатое августа в Горной Долине ничем не отличалось от других дней конца лета. Небо с самого утра было затянуто тучами, но улицы оставались сухими и чистыми: сказывалось особое расположение городка – в небольшой низине между двумя холмами. Эти самые холмы – слишком низкие, чтобы их можно было назвать горами – словно отталкивали тучи, и дождь всегда проливался на наружные от городка склоны.

Однажды – давно, лет пятьдесят назад, только старожилы еще помнили те времена – в Горную Долину приехал художник. Он целыми днями бродил по окрестностям с мольбертом и красками, выбирая подходящий пейзаж. Наконец он нашел то, что искал – место на южной окраине, в тени липовой рощи перед городским кладбищем. Он был полон энергии и замыслов, махнув пару стаканов крепчайшего местного самогоня, художник воодушевленно кричал, что эти холмы – «как груди раскинувшейся в томлении девственницы», а сам он, соответственно, – находится где-то в районе «пышущего жаром лона». Через неделю художник повесился – в сарае той избы, которую снимал.

С тех пор некому было воспеть это красивое и уединенное место. Но с легкой руки повесившегося живописца – имя его не сохранилось даже в памяти старожилов – северную часть Горной Долины стали называть Головой, а южную – Ногами. Это бы еще ничего, но нашлись проказники, которые ввели в обиход весьма легкомысленные названия холмов, между которыми был зажат городок: западный стал Левой Грудью, а восточный – Правой. Сначала старики противились и плевались, но потом, когда первоначальный смысл постепенностерся, как изображение орла на древней монете, привыкли.

* * *

Дом Ружецких располагался в Голове. Был этот дом большой и старый, построенный – до второго этажа – из мягкого серого известняка, а выше – из отменных дубовых бревен, которым и сто лет нипочем. Внутри он несколько раз перестраивался, у его обитателей рождались дети, они обзаводились новыми семьями, у них рождались новые дети, и в зависимости от численности жильцов старые стены сносили, адом перегораживали новыми, увеличивая или уменьшая количество и размер комнат. Неизменным было одно – все Ружецкие постоянно жили в этом доме, потому что места здесь хватало.

С годами их род стал хиреть. Старый хозяин, Семен Павлович, произвел на свет только одного сына – Валерия. Валерий Ружецкий, закадычный дружок Кирилла Баженова еще со школьной парты, женился на первой красавице класса – Ирине Катковой. Брак, который поначалу казался счастливым, через несколько лет дал трещину. Невозможно точно сказать, кто был в этом виноват. В таких случаях виноваты обычно обе стороны, но в поисках оправдания каждый пытается установить момент, с которого все пошло наперекосяк, и озлобленные супруги закапываются все глубже и глубже в прошлое, поливая черной краской даже те времена, когда они были счастливы вместе. Поэтому вердикт для подобных браков один: «Он был неудачным с самого начала». То же самое говорили и про Ружецких, но, несмотря на сплетни и досужие разговоры, которых всегда в избытке в маленьких городках, они жили под одной крышей уже пятнадцать лет, и у них рос сын Петя, которому весной исполнилось десять. В Горной Долине считали, что именно сын был тем цементом, который скреплял полуразрушенное здание семьи. Кто знает, может, так оно и было, а может, причина еще проще – им некуда было деться друг от друга.

* * *

Девятнадцатого августа Петя проснулся рано – без десяти восемь. И в семье Ружецких, и вообще в Горной Долине было принято вставать рано. У сельских жителей это в крови – еще со времен луцины и керосиновой лампы, они стремятся полностью использовать световой день для работы, оставляя ночь для отдыха и постельных забав.

Петя встал, откинул одеяло и пошел в ванную чистить зубы. Не глядя, он выдернул из общего стаканчика свою зубную щетку с Микки-Маусом и выдавил ровную полоску пасты – так, чтобы она покрывала всю щетину. Странные эти взрослые – говорят, что достаточно и половины, но почему тогда щетину делают такой длинной? И чего экономить на пасте – сами же твердят, что зубы надо чистить тщательно, а разве можно их вычистить тщательно, когда щетка намазана всего лишь наполовину? Нет, положительно, взрослым порой не хватает серьезности, редко какое дело они могут довести до конца.

Петя прополоскал рот и стал энергично водить щеткой по крупным белым зубам. Вообще-то, у него в классе – самые белые зубы, и все потому, что он никогда не жалеет пасты. У Васьки Баженова тоже белые, но кривые – напоминают покосившийся частокол, а у Стаса Бирюкова желтые, будто бы он много курит, хотя – Петя знал это наверняка – Стас еще ни разу

в жизни не затянулся табачным дымом. Девчонки не в счет – у них зубы мелкие, острые, а у Пети – настоящие, мужские. Когда он вырастет, то будет носить черные усы, как отец, к таким красивым зубам очень идут черные усы.

Петя выпятил верхнюю губу, представляя, какие у него будут усы, и вдруг почувствовал какой-то странный вкус во рту. Вместо мятного запаха «Жемчуга» он ощущал болотную гниль, в животе у мальчика забурчало, к горлу подступил комок, и он громко рыгнул. Облако зловонных газов вырвалось изо рта и мгновенно наполнило маленькую ванную.

Петя поморщился от отвращения, выплюнул в раковину белую пену и хорошенеко прополоскал рот, но тошнотворный вкус никуда не делся, напротив, мальчику показалось, что он стал еще сильнее.

Петя испугался, он хотел позвать кого-нибудь из родителей, но передумал. Отец наверняка еще не проснулся, а мать… Матери он перестал доверять с тех пор, когда она однажды с гордостью заявила подругам – они регулярно собирались по выходным и пили ликер на кухне у Ружецких, – что «у нас, между прочим, уже волосы кое-где растут». Сказала так, словно хвалилась своим личным достижением. Она была довольная, раскрасневшаяся и гладила сына по голове, а Петя стоял и думал только об одном – хорошо бы провалиться на этом самом месте. И чтобы она провалилась вместе с ним. Кстати, она лгала: никаких волос и в помине не было, да и откуда им взяться ТАМ в девять лет? Петя потом долго себя рассматривал, но так ничего и не обнаружил. Впрочем, мать частенько лгала: и ему и другим.

Внезапно Петя почувствовал, что ему не хватает воздуха. Голова закружилась, как это бывает, когда долго катаешься на карусели, желудок сдавило спазмом, и Петю вырвало.

В раковину упал черный комок густой вонючей слизи, и после этого сразу все прошло. Противный запах и вкус исчезли бесследно. Петя наклонился над раковиной и стал изучать странный комок.

Слизь напоминала протухший мазут. Он уже не раз видел такое: с мальчишками они часто играли около котельной и конечно же не могли удержаться, перелезали через ограду, за которой стояла бочка с мазутом. Время от времени из Ковеля приезжала большая машина с оранжевой цистерной, и водитель с черными разводами на руках и лице, намертво въевшимися в кожу, доставал гофрированный рукав, толстый, как хобот чудовищного слона, и перекачивал черную жижу из цистерны в бочку. Когда бочка наполнялась, водитель, зловеще ухмыляясь, как черт, выключал насос и вытаскивал рукав из горловины: при этом немного мазута проливалось на землю. Он подолгу не впитывался в почву, а если шел дождь, то плавал в лужах грязными комочками. Подстегиваемые любопытством – а будет ли мазут гореть после того, как побывал в воде? – мальчишки наматывали эти комочки на палки и доставали их из луж, пытаясь сделать факелы. Но, побывав в воде, комки мазута становились совсем другими – они были тверже и отвратительно пахли. И совсем не горели.

Отец тогда объяснил Пете, что мазут – это один из продуктов перегонки нефти, самый тяжелый и самый дешевый, поэтому он часто используется для котельных в качестве топлива. Но, поскольку нефть – это органическое вещество (что такое «органическое», Петя не понимал, но согласно кивал головой), то мазут может гнить, разрушаться какими-то там бактериями. Что такое «бактерии», Петя немного представлял, но тоже довольно смутно. Это слово в его сознании было неразрывно связано с болезнью. Когда он простужался и лежал в постели с температурой, домой приходил Тамбовцев и читал родителям долгую лекцию о различиях между вирусной инфекцией и инфекцией бактериальной. Одним словом, и вирусы и бактерии – это источники заразы. И если эти бактерии заставляли мазут гнить – значит, они делали его больным и, следовательно, заразным.

С тех пор Петя не доставал протухшие комочки. Но сейчас он видел перед собой нечто, очень похожее на «больной» мазут. И это его пугало, потому что мерзкая дрянь появилась

не откуда-нибудь, она вылезла из него. А может, это не все? Может, внутри него еще что-то осталось?

Петю передернуло от этой мысли. Он представил себе, что в животе у него плещется черная густая слизь.

Петины губы задрожали, он готов уже был заплакать, но вдруг в голове у него мелькнула спасительная идея! Она всегда возникала вовремя. Вот и сейчас спасительная идея появилась как нельзя кстати. Петя подумал, что если бы в животе у него плескалась – БР-Р-Р! – эта гадость, то его продолжало бы тошнить до тех пор, пока она не вышла бы вся, целиком.

Но ведь этого не случилось! Значит, больше в животе у меня ничего нет.

Он немного успокоился.

В конце концов, это просто бактерии. Тамбовцев говорил, что Они всегда – СЛЫШИТЕ, ВСЕГДА! – живут в человеке, и только время от времени объявляют ему войну. Именно тогда человек и болеет.

Петя рассудил, что причин для опасений нет: то, что с ним случилось, – это что-то вроде поноса, только наоборот.

Мальчик успокоился окончательно, но все же одна мысль – где-то на задворках детского сознания, пробиваясь сквозь яркие образы велосипеда, рогатки и отцовской надувной лодки, лежавшей в сарае, – колола тоненькой иглой сомнения.

Эта слизь светилась странным зеленоватым светом – таким загадочным и пугающим одновременно!

С мазутом никогда ничего подобного не бывало. Наоборот, после долгого лежания в воде он терял свой антрацитовый блеск и покрывался серым налетом.

А это зеленоватое свечение, окутавшее черный плевок, то ярко вспыхивало, то постепенно угасало.

Фу! Хватит об этом!

Петя решительно открыл кран. Мощная струя воды подхватила лежащую на белом фаянсе дрянь, закрутила в бурлящем водовороте и унесла с собой в сточную трубу.

Петя снова взял щетку и еще раз почистил зубы. С пастой был явный перерасход – мать обязательно ругалась бы на него за это! – но у Пети была на то веская причина.

А еще через минуту он и думать забыл о случившемся: такова особенность детской памяти, неприятности в ней надолго не задерживаются. Впереди был целый день, и он обещал быть веселым – Петя договорился с Васькой Баженовым идти стрелять по воронам.

Сейчас он был озабочен только одним – как бы незаметно вытащить из-под крыльца свою рогатку, на которую давно был наложен строжайший запрет.

* * *

Анастасия Баженова, выходя из дома, всегда неплотно притворяла за собой дверь. В Горной Долине воров никто не боялся – да и кто бы стал воровать у своих, ведь краденое все равно продать некому, – но оставить дверь приоткрытой было для Баженовой проявлением особого шика. Конечно, все понимали, что в дом Шерифа не полезет даже последний алкоголик в приступе белой горячки, хотя бы все окна и двери были распахнуты настежь, но Баженова всячески старалась это подчеркнуть, добавить тем самым значимости своей и без того весьма значительной персоне.

Прихватив кошелек и цветастый полиэтиленовый пакет с изображением латиноамериканской звезды «мыльных опер», Анастасия Ивановна направилась в магазин. Она собралась за хлебом. Хотя, конечно, не только за хлебом, но и затем, чтобы пожать ежедневный урожай сплетен, слухов и горячих новостей. По сравнению с этим буханка хлеба – небогатый улов. А новости обещали быть интересными. Кроме того, у нее было еще одно, очень важное, дело.

От дома Шерифа до магазина было пять минут ходу по прямой, как стрела, Центральной улице. Но Анастасия Ивановна не выбирала коротких дорог. Ее путь лежал через Молодежную улицу, пролегавшую вплотную к Левой Груди.

Городок был спланирован просто: посередине его рассекала Центральная улица, западнее шли Кооперативная и Молодежная, восточнее – Ленинского комсомола и Московская, – итого между Правой и Левой Грудью умещалось пять параллельных улиц, пересекавшихся пятью переулками с незатейливыми названиями: Первый, Второй, Третий, Четвертый и Пятый, считая от Головы к Ногам. Главной была, конечно, Центральная: на ней стояли здания школы, горсовета, магазина и почты. Дорога из Ковеля – единственная, связывавшая городок с внешним миром, примыкала к Голове с севера и переходила в Центральную улицу, возможно, поэтому из всех пяти она одна была заасфальтирована.

С севера на юг Горной Долины тянулись глубокие канавы: Голова располагалась немного выше, чем Ноги, и весной, когда таяли снега – а снега в этих краях всегда хватало, – неугомонные ручьи норовили смыть все на своем пути, принести в дар кладбищу, лежавшему в тени вековых лип на южной оконечности городка, даже тот мелкий щебень, который покрывал Молодежную, Кооперативную, Ленинского комсомола и Московскую. До тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года так и было, но в шестьдесят восьмом городской совет принял решение, согласно которому каждый житель Горной Долины обязан был выкопать вдоль фасада своего дома водосточную канаву. Это помогло, и теперь все пять улиц были пригодны для проезда в любое время года.

Дом Баженовых стоял на пересечении Центральной и Первого. Выйдя из дома, Анастасия Ивановна прошла Первый переулок до конца, до самой Левой Груди, повернула направо, на Молодежную, и по ней спустилась до Пятого переулка.

Здесь, на юго-восточной окраине городка, стоял ветхий домишко с прохудившейся крышей. Архитектура Горной Долины вообще не отличалась красотой и изысканностью, но этот дом производил просто удручающее впечатление.

Казалось, с каждым годом он все глубже и глубже уходил в землю – словно кто-то медленно хоронил его заживо. Ставни косо висели на оконных рамах, бревенчатые стены были изъедены жучками-древоточцами и выглядели так, словно по ним стреляли мелкой дробью.

Небольшой участок окружал серый от времени и сырости забор, через который давно уже никто не рисковал перелезать – он рушился при одном только прикосновении.

На всех трех окнах, выходящих на Молодежную, висели плотные занавески.

Баженова подошла к калитке и громко окликнула:

– Лена! Леночка!

Никто не отозвался, но Анастасия Ивановна чутким ухом уловила какое-то шевеление в доме. Она позвала еще раз.

Дверь со скрипом отворилась, и в образовавшемся проеме показалось бледное изможденное лицо молодой девушки. Увидев Баженову, она слабо улыбнулась и вышла на крыльцо. Девушка была одета странно: в длинный, до пят, бесформенный сарафан из плотной белой ткани, тонкая шея обмотана белым шарфом, на голове – простенькая косынка, тоже белая.

Ее лицо можно было бы назвать красивым – правильной формы нос, чистая кожа, изящно очерченный рот – если бы не его пугающая безжизненность, застывшая, как посмертная маска. Огромные голубые глаза казались бездонными из-за больших темных кругов, щеки запали, и все черты заострились до предела. Казалось, девушка была неизлечимо больна и знала об этом. Знала и не сопротивлялась глодавшему ее недугу.

– Здравствуйте, Анастасия Ивановна, – еле слышно сказала она.

У Баженовой дрогнуло сердце:

– Милая моя, что же ты с собой делаешь? Небось опять всю ночь не спала? Девушка молчала.

– Но ведь так нельзя. Посмотри, ты же изводишь себя. Догораешь, как свеча. – Невысокая, крепко сбитая, с большим бюстом и крутыми бедрами, Баженова выглядела живым воплощением здоровья. – У тебя есть что покушать? Молоко еще не выпила? Творожок не съела?

Девушка покачала головой. Взгляд ее был устремлен куда-то вдаль, поверх головы Баженовой, в сторону липовой рощи, туда, где в тени вековых деревьев лежало кладбище Горной Долины.

Баженова перехватила этот взгляд и, неодобрительно вздохнув, сказала:

– Леночка, столько лет уже прошло. Что было – не воротишь. Тебе надо жить, девочка моя. Ты же совсем молодая.

Ответа не было. Лена стояла на крыльце, но словно бы в то же самое время она была далеко отсюда, на краю кошмарной бездны, и всякий раз, когда Баженова делала шаг, чтобы протянуть ей руку, Лена едва заметно отступала назад, и пропасть становилась все ближе и ближе, казалось, она вот-вот набросится и поглотит несчастную девушку.

Анастасия Ивановна поспешила сменить тему:

– Ты знаешь, Леночка, нарадоваться не могу на клубнику, которую Кирилл купил по весне в Ковеле. Ремонтантная какая-то… Скоро уж сентябрь, а я каждый день полную миску собираю. Как начала плодоносить с середины июня, так до сих пор и растет. Я скажу Ваське, он принесет тебе вечерком.

Еле заметная улыбка и тихий шелест:

– Спасибо, Анастасия Ивановна…

– Этот Васька такой пострел. Утром смотришь – а его уже нет. Убежал. Приходит домой только к вечеру. Целыми днями вечно где-то пропадает. Ну ничего, – она погрозила пальцем неизвестно кому, ведь сын не мог ее сейчас видеть, – скоро уже школа начнется, там ему мозги на место поставят.

– Анастасия Ивановна, – глаза девушки вдруг наполнились слезами, и плечи задрожали, – ОН уже близко, я знаю… – Черты лица ее исказились, словно она увидела перед собой нечто ужасное. – Скоро ОН опять придет…

Баженова в сердцах всплеснула руками, осторожно открыла хилую калитку, болтавшуюся на одной петле, и в два стремительных прыжка оказалась рядом с Леной. Со стороны было забавно наблюдать, как дородная приземистая тетка обхватила хрупкую девушку и уткнула ее голову в свою пышную грудь.

– Господь с тобой, Леночка, дорогая моя! Да откуда же ему взяться, Антихристу такому? Не придет он больше никогда. – Она понизила голос до шепота и сказала Лене прямо в ухо: – Нешто мертвые могут оживать? Ты что, девочка? Оставь ты эти мысли. Давно тебе уже говорила: переезжай к нам – места на всех хватит. Ну? Хоть поспиши спокойно. Мы тебя в обиду не дадим: у Кирилла-то, знаешь, какое ружье? А у Васьки – рогатка, только куда он ее прячет, стервец, ума не приложу…

Последнее замечание слегка оживило девушку. На бледных губах мелькнула мимолетная улыбка, озарившая ее измученное лицо. Мелькнула и тут же исчезла.

– Я не могу… – Баженова почувствовала, как по ее могучей груди потекли холодные слезы. – Я не могу, Анастасия Ивановна… Я должна быть здесь…

– Ну что тебе здесь делать? Доходишь тут одна… Заживо себя хоронишь в этом доме… Видела б тебя мать, разве бы она одобрила?

Баженова поздно спохватилась. Она уже знала, что за этим последует. Она столько раз ругала себя на чем свет стоит, кляла за несдержаный язык, который всегда оказывался быстрее мыслей, но она говорила искренне, и сейчас эти слова про Ленину мать вырвались совершенно случайно, мозг не успел загнать их обратно за высокий забор, на котором огромными буквами было написано: «НЕЛЬЗЯ».

Лена мягко, но решительно освободилась из ее объятий, проскользнула, как тень – как БЕЛАЯ тень, – в узкую щель между дверью и притолокой и щелкнула изнутри засовом.

Баженова осталась одна. Она знала, что стучать, требовать, просить, чтобы Лена открыла, – все бесполезно.

Анастасия Ивановна постояла на крыльце, неловко переминаясь с ноги на ногу. Разговор, оборвавшийся – как почти всегда это случалось с Леной – внезапно, тем не менее требовал завершения. Логической точки. Пару секунд она вспоминала, что же такого ВАЖНОГО она хотела Лене сообщить, потом вдруг вспомнила, приблизилась к дверному косяку и торжествующим тоном сказала:

– Мой-то, Кирилл Александрович, сегодня в Ковель поехал. Знаешь зачем? – Она сделала выжидательную паузу, словно давая Лене возможность спросить «зачем?», но не дождалась ни звука и сама себе ответила: – Нового доктора встречать. К нам новый доктор едет, говорят, из самой Москвы. Он тебя в два счета вылечит. Это ж надо такое: довела себя совсем девка. Тебе уж давно невеститься пора… Я-то в твои годы… – На лице Анастасии Ивановны появилось мечтательное выражение, но только на мгновение – она вовремя себя одернула и мысленно выругала за неуместность своих счастливых воспоминаний. Вот старая дура, словно кто меня за язык дергает. Баженова злилась краской, прокашлялась, будто у нее вдруг запершило в горле, и повторила уверенным голосом:

– Он тебя вылечит, вот увидишь.

За дверью – ни звука. Ни шороха.

Анастасия Ивановна одернула платье и направилась к калитке. Осторожно ее закрыла, отметив про себя: «Надо попросить Кирилла, пусть придет, поправит», и от забора крикнула:

– Так я пришлю Ваську-то. Вечерком. Ягода в этом году удалась.

«Ягода-то удалась, – думала она, шагая по Пятому к Центральной, – а что толку? Тает ведь девица – тает прямо на глазах. Да чтоб он был проклят, этот ирод!»

* * *

В заведении усатой Белки назревала драка. Вроде ничего особенного – такое случалось почти каждый день, и Белка давно уже научилась самостоятельно, разнимать подвыпивших драчунов. Иногда, правда, когда страсти чересчур накалялись, ей приходилось звать на помощь Шерифа, но к этой крайней мере Белка прибегала очень редко. Они с Шерифом недолюбливали друг друга. Причина была простая: Белка торговала в основном самогоном собственного производства, и Шериф, как представитель законной власти, не должен был закрывать на это глаза, но тем не менее закрывал: очень уж велик был спрос на Белкину продукцию, а настраивать против себя все взрослое мужское население Горной Долины Шериф не решался. Поэтому он делал вид, что ничего не замечает, а Белка не тревожила его по пустякам. Кроме того, она была источником ценной информации, и это Шерифу тоже приходилось учитывать.

– Смотри, если кто-нибудь отравится твоим зельем – я тебя посажу, – всякий раз предупреждал ее Шериф, на что Белка только усмехалась:

– Мое зелье чище ковельской водки.

Иногда Шериф потихоньку просил кого-нибудь купить ему бутылку Белкиного самогона и убеждался, что она говорила правду: самогон был действительно отличный. И самое главное – у Белки бутылка стоила дешевле, чем в магазине – водка ковельского разлива.

Вообще-то ее звали Белла Афиулловна, но половина жителей городка не могли запомнить ее отчество, а те, которые каким-то чудом запомнили, не могли правильно его выговорить. У нее были густые черные усы, почти гусарские, но Белка никогда и не думала их сбривать или выщипывать. Большая, грузная, с неуловимо певучим акцентом, она появилась в Горной Долине еще в незапамятные времена. Казалось, она была здесь всегда.

Ее заведение стояло на углу Московской и Третьего переулка. Когда-то оно именовалось «Рюмочной», о чем свидетельствовали полуустершиеся белые буквы на мутной витрине, но сейчас все называли его просто по имени, точнее, прозвищу, хозяйки. Заведение усатой Белки.

Одноэтажный деревянный дом с большим навесом и обширным настилом перед входом, внутри всегда полумрак, свет тусклых лампочек едва пробивается сквозь густые облака табачного дыма, за грязной обшарпанной стойкой монументом зеленому змию возвышается сама Белка, у нее за спиной – два ряда напитков вполне официальных, разрешенных к продаже, а под прилавком – пара ящиков, забитых бутылками с мутноватой жидкостью, горлышки заткнуты скрученной бумагой. Эту картину можно было наблюдать ежедневно, с раннего утра и до позднего вечера, без выходных и праздников, даже без перерывов на обед.

В тот день Белка открылась в десять. Она, как обычно, подошла к двери, достала ключ и открыла ржавый висячий замок, такой огромный, что им можно было запереть целый город. Белка распахнула дверь, изнутри ударил целый букет запахов, ставших для нее настолько привычными, что она их уже не замечала: застоявшегося табачного дыма, грязных полов и какой-то кислятины.

Белка, не глядя, нашарила на стене выключатель, отметила, что из трех лампочек одна перегорела, и по скрипучим половицам зашагала к стойке.

Уличный свет, лившийся через дверной проем, на мгновение погас. Белка обернулась и увидела знакомую фигуру.

– Доброе утро! – сказала фигура сиплым голосом.

– Здравствуй, Иван!

Иван подошел к стойке: в руках у него была полная корзина отличных белых грибов. Строго говоря, Ивана нельзя было считать жителем Горной Долины, он жил в четырех километрах от города в уединенной лесной хижине. За это его и прозвали Лесным Отшельником.

Летом он собирал грибы и ягоды, продавал их по дешевке на площади перед магазином, а зимой работал у кого-нибудь по хозяйству, проще говоря, батрачил. Тем и кормился.

– Возьмешь? – спросил он, протягивая корзину.

Грибы у него всегда были отборные, в этом Ивану не было равных, окрестные леса он знал даже лучше, чем дорогу к заведению. —

Белка посмотрела оценивающе.

– И еще лампочку вкрути, – накинула цену Белка, но Иван даже не подумал спорить.

– О чём разговор? Конечно. Давай лампочку.

– Сейчас принесу. – Белка вышла из-за стойки, подхватила корзину и скрылась за неприметной дверью, ведущей в кладовку.

Вернулась она уже с пустой корзиной в одной руке и новой лампочкой – в другой. Протянула ее Ивану:

– На!

– Ага!

Отшельник подвинул ближайший стол и принял было снимать сапоги, но Белка его остановила:

– Не надо. Ноги-то у тебя, поди, еще грязнее. Вот, возьми газету, постели.

Иван постелил газету, ловко запрыгнул на стол и заменил лампочку. Затем слез, аккуратно сложил газету и сунул в карман:

– Почитаю вечером.

– Да она с прошлой недели.

– Какая мне разница?

Белка нагнулась под прилавок, достала бутылку. Иван схватил со стойки стакан, протер его рукавом, посмотрел на свет и налил до краев самогон.

– Ну, будем здоровы.

Белка задумчиво кивнула, она в это время протирала стойку.

Иван выпил стакан мелкими глоточками и довольно крякнул:

– Только в путь! Что б я без тебя делал?

– Пил бы меньше, – не глядя, ответила Белка. Она сейчас обдумывала свою традиционную утреннюю мысль: а не обшибть ли стойку куском тонкого железа? А то вон – вся в царапинах да подпалинах от бычков. К тому же железную мыть было бы легче.

Кусок железа давно дождался своего часа в кладовке, но Белка жадничала, ведь надо было платить за работу, а это значит – бутылку долой.

Никто никогда не знал, сколько она заработала своим винокуренным промыслом: жила Белка одиноко, в маленькой развалюхе по соседству, на южной окраине той же самой Московской улицы, никакой живности не держала, огорода у нее не было. «Она замужем за своим самогонным аппаратом», – едко замечал Шериф, и он был прав.

Иван закупорил бутылку тем же самым кусочком бумаги и сунул ее в бездонный внутренний карман телогрейки – такой засаленной, что определить ее первоначальный цвет было невозможно.

– Пойду я. У меня еще дела…

Белка молча кивнула. Она уже догадалась, что за дела торопили Ивана: наверняка набрал кучу грибов, теперь их надо побыстрее продать. Ну а коли так, вырученные деньги будут жечь ему ляжку: через пару часов он как миленький вернется в заведение. И оставит у Белки все до копеечки.

На пороге Иван обернулся:

– Ты знаешь, а у меня ведь Малыш пропал. В глазах у Ивана стояли слезы.

Белка почувствовала легкий укол в сердце. Ее нельзя было назвать доброй или сентиментальной. Никто в Горной Долине ее не любил, и она никого не любила. Она терпела мужиков – этих грязных, вечно похмельных мужиков – только потому, что они приносили ей деньги: замусоленные бумажки, мятые и рваные, сложенные вчетверо или скрученные в трубочку. Терпела, но никакой симпатии к ним не испытывала. Женщины же ненавидели ее за то, что Белкина деятельность пробивала в каждом семейном бюджете огромную дыру, по сравнению с которой пробоина, пустившая на дно «Титаник», казалась легкой неприятностью. Белка пластила им той же монетой.

Белка жила в состоянии войны со всем городком. Она забрасывала вражеские окопы бутылками с зажигательной смесью, она постоянно наступала – давала самогон в долг, под запись, не брезговала брать плату продуктами и различными услугами, но она никогда не обольщалась, потому что знала – стоит ей остановиться, перекрыть кранник хотя бы на пару дней, и конец. Ее сожгут, как Гитлера с Евой Браун, завернув в ковер и облив бензином. Она давно уже стала заложницей своего промысла, кидала сахар и дрожжи в огромные бутыли браги с обреченностью грешника, подбрасывающего уголек в топку с адским пламенем.

Все это озлобило и ожесточило ее, иногда набравшиеся посетители пытались излить перед ней душу, но их пьяные откровения Белку никогда не трогали, она просто пропускала их мимо ушей, считала за хитрую уловку, предпринятую с целью выпросить дармовой стаканчик зелья.

Поэтому сейчас она удивилась, почувствовав что-то вроде жалости и сочувствия к Иванову горю, высказанному в такой простой и трогательной форме.

– Пропал… Третий день уже нет.

Все в Горной Долине знали Малыша – собаку Ивана. Помесь дворняжки и невесть откуда взявшегося в этих краях колли, вечно худой, голодный, с торчащими ребрами, он был завсегдатаем городской помойки, не брезговал мышами и крысами, выкапывал корешки, – словом, находил, себе пропитание везде, где только мог. Постоянная забота о еде обострила его разум – если допустить, что у собак он есть, – но не сделала Малыша злобным. Он был предан Ивану

и, кое-как набив брюхо, всегда прибегал домой, к хозяину, сопровождал его в дальних походах по окрестным лесам и сторожил пустую хижину в его отсутствие, хотя красть у Ивана было нечего.

Малышу частенько доставалось от Ивана, однажды в приступе белой горячки он избил его тяжелой осиновой палкой – так сильно, что пес чуть не сдох, но для Малыша это ничего не меняло, благородство и верность были у него в крови.

Теперь Малыш пропал. Так сказал Иван, хозяин, привыкший к частым отлучкам своего пса.

Почему-то это сильно тронуло казавшееся каменным сердце усатой самогонщицы: наверное, если бы Иван сказал, что у него рак или гангрена, Белка бы только покивала головой, думая про себя: «Да когда же ты уберешься наконец?» Но искренняя тоска по пропавшему любимцу заставила Белку испытать давно забытое чувство жалости. Жалости и сострадания.

Она отложила в сторону тряпку:

– Не переживай. Вернется еще. Просто забежал далеко. Нагуляется – и вернется. Как все вы, кобели, возвращаетесь.

Последнее заявление было странно слышать от Белки: она никогда не была замужем (если не считать самогонного аппарата – ехидный голос Шерифа за кадром). Тем более странно было говорить это никогда не женатому Ивану. Но они поняли друг друга: Белка, как могла, сочувствовала, Иван принимал ее сочувствие.

Он обреченно махнул рукой и, не сказав ни слова, вышел.

* * *

Ближе к четырем часам в заведение завалилась компания Вальки Мамонтова: сам Валька, старший из братьев Волковых, Женька, недавно вернувшийся из мест, не столь отдаленных от родного городка, и Витья Качалов, – местная шпана, как презрительно называл их Баженов, хотя самому младшему, Витье Качалову, было уже за тридцать.

Ни одна драка в Горной Долине не обходилась без их участия. Точнее, там, где появлялась эта неразлучная троица, всегда возникала драка. Чаще всего без причины, просто так, от избытка чувств. Они считали себя главными героями в этой нудной и затянувшейся пьесе, огни рампы били им в глаза, а невидимая в темноте публика рукоплескала и требовала действия.

Троица уселась за самый лучший в заведении, столик у окна. Никто не смел его занимать, все знали, чем это обычно заканчивается, даже когда заведение было полно народу, этот столик оставался свободным, а те неудачники, которым не хватило места, предпочитали жаться к стойке.

Валька Мамонтов с грохотом отодвинул стул и с размаху уселся на него, смарчно припечатав жирные ягодицы к дерматиновому сиденью. Его спутники глупо заржали и последовали примеру предводителя.

Валька оглядел заведение. Его мутные с прожилками глаза напоминали атлас автомобильных дорог европейской части России: тот же бледно-зеленый фон и причудливая паутина красных изломанных линий – с той разницей, что в развороте атласа было куда больше смысла.

В дальнем темном углу он заметил парочку изгоев: отверженные существуют в любой социальной системе, с этим ничего не поделаешь. Иван, к тому времени продавший все грибы и вернувшийся, как и предполагала Белка, в заведение, делил бутылку с самым горьким алкашом городка – Кузей. Кузя пропил все, что мог – дом с мебелью, участок с сараев, мозги с печенью и даже отчество с фамилией. Больше у него не было ничего. Он бы пропил и последнюю одежду, но охотников на его завшивленное тряпье не находилось.

Иван был по-своему благороден, он никогда ничего не крал и с охотой делился всем, что у него было, не требуя ничего взамен. Сейчас он угождал Кузю огненной водой и рассказывал ему о своей печали.

Мамонтов прислушался к их разговору.

– Эй, вы чего там шепчетесь?

– Да ничего. – Иван втянул голову в плечи и отвернулся. – Малыш у меня пропал… Вот мы… – Он развел руками, словно говоря, что дальнейшие объяснения бессмысленны.

Троица засмеялась.

– Эй, хозяйка! Дай нам бутылочку. Пожрать чего-нибудь есть? – Эти трое были единственными, кого Белка обслуживала лично.

– Грибочки белые пожарила. Хотите, мальчики? Отличные грибочки, как раз на закуску. – Морщины на ее лице, как круги на воде, расплылись в приторной улыбке, усы топорчились, словно она их накручивала на шомполе. – Свеженькие, только что из лесу.

Она прочитала и уже спешила к их столику с подносом в руках: бутылка самогона, три стакана, три чистые тарелки и большая сковородка жареных грибов.

Шпана одобрительно загудела:

– Давай, давай.

Белка разлила самогон по стаканам: первый – всегда до краев, она хорошо знала привычки своих завсегдатаев, смахнула тряпкой со столешницы невидимые крошки и умильно сложила руки на животе.

– На здоровье, ребятки!

Трое чокнулись и выпили. Белка кивнула, забрала пустую бутылку и поспешила за второй.

Валька наложил себе полную тарелку грибов и сейчас с аппетитом закусывал. Витька Качалов от него не отставал. А Волков ковырялся вилкой в тарелке с почти нескрываемым отвращением. Он был худой, некрасивый, с землистым лицом: тюрьма – не санаторий, здоровья она не прибавляет, это точно. Все мужчины в их роду знали об этом не понаслышке, но тем не менее, словно по заранее заведенному расписанию, друг за другом отправлялись на «кичу».

Наконец Волков отложил вилку и закурил.

– Слыши, ты! А чего это от тебя кобель убежал? – громко спросил он Ивана.

В заведении стало тихо: слышно было только довольное чавканье Мамонтова и журчание мух под потолком.

Иван вздрогнул, словно его ударили. Он помедлил немного, взял в руку стакан и сказал, не поднимая глаз:

– Не знаю. Убежал и убежал.

– «Не знаю…» – ощерился Волков. – Зато я знаю. Небось ты его затрахал до полусмерти. Больше-то тебе трахать в твоем лесу некого. А? Или ты дрошишь? А может, и то и другое? – Он заржал, обнажив крупные, изъеденные кариесом зубы и белесые, как брюхо дохлой рыбы, десны.

Иван молчал. Взгляды всех присутствующих обратились к нему. Даже Валька Мамонтов отодвинул тарелку и развернулся к Ивану.

– Ну, чего молчишь? Я с тобой разговариваю. Язык, что ли, проглотил? – не унимался Волков. Главному герою срочно потребовался статист, мальчик для битья. Текста статисту не полагалось: так, одна-две ничего не значащих реплики. У него была другая задача – быстро получить в морду и смыться за кулисы, пока главный герой, жеманно раскланиваясь, будет упиваться заслуженными аплодисментами.

Иван увидел, как сжался Кузя. Он выглядел так, словно его уже побили: делайте, что хотите, но только не трогайте меня, я здесь ни при чем.

Иван медленно обвел глазами все заведение и наконец скрестил взгляд с нахальным приступом Женькиных глаз.

— Я... вспоминаю.

— Что ты вспоминаешь, дурак? — Волков, не ожидая никакого подвоха, распалял себя все больше и больше.

— Как-то на днях к Малышу прибегал знакомый кобель из городских. Я... вспоминаю их разговор, — повторил Иван.

— Интересно послушать. И о чем же они говорили? — встремял Мамонтов.

Иван сохранял бесстрастное выражение лица.

— Он сказал, что в Горную Долину недавно вернулась одна классная «дунька». Очко, сказал, у нее замечательное уж на зоне-то постарались, там в таких вещах знают толк. Говорит, дает всем подряд. Любит это дело. Вот Малыш и побежал — попробовать. Ну как? — Иван хитро подмигнул, глядя Волкову прямо в глаза. — Задница не болит?

Волков в бешенстве вскочил. Стул отлетел в угол. Он схватил со стола вилку и бросился на Ивана.

Кузя завопил — громко и отчаянно, как собака, попавшая под машину, — и опрометью метнулся на улицу.

— Караул, убивают! — кричал он, вихрем пролетая по Московской.

Иван сжал дрожащими пальцами горлышко бутылки. Жалко, там еще почти половина, успела промелькнуть мысль. Он отошел в угол и стоял, ожидая нападения. Он почти не боялся — вилка так вилка, не все ли равно, как будет поставлена точка в пустой и бездарной жизни? — но сердце его щемила тоска, оттого что в этот момент рядом с ним не было никого. Даже верного пса.

* * *

— А где горы? — спросил Пинт Баженова.

— Горы? — В голосе Шерифа послышалось недоумение.

— Ну да, горы. Ведь город называется Горная Долина.

— Ах, вот оно что... Да черт его знает! Никогда здесь не было гор.

— Странно. Откуда же такое название?

— Не знаю. Просто звучит красиво, вот и все. Разве название обязательно должно что-нибудь означать? Пинт пожал плечами:

— Наверное.

Ухабистая дорога, в течение получаса петлявшая в лесу, теперь выпрямилась, как тугонатянутая веревка, потом густые кроны деревьев, смыкавшиеся где-то высоко вверху, остались позади, и машина выехала на открытое пространство. Оказалось, что веревка привязана к невидимому колышку между двумя почти симметричными холмами. Но холмы — это не горы. Пинт ожидал увидеть горы.

— Сделаем так. Я отвезу тебя в больницу. Там есть маленький домик для персонала. Тамбовцев, наш старый док, живет в городе, и домик пустует уже много лет. Первое время можно пожить там, пока не придумаем чего-нибудь лучше. Согласен?

— Вполне.

Уазик миновал указатель с надписью «Горная Долина». Здесь Баженов повернулся сначала направо, а на втором перекрестке — налево.

«Московская улица», — прочел Пинт на табличке, прикрученной к фасаду дома, стоявшего по левую руку, справа домов не было, поросшая мелким кустарником обочина вздымалась, как волна, и круто уходила вверх, и чем выше она поднималась, тем меньше раститель-

ности на ней оставалось, макушка холма и вовсе была голая. «Как лысина», – подумал Пинт. Вот только форма холма напоминала совсем не лысину, скорее...

– Правая Грудь, – бросил Шериф, заметив, куда смотрит Пинт.

– Простите?

– Я говорю, этот холм называется Правая Грудь. А тот, – он махнул рукой в противоположную сторону, туда, где, скрытый домами, возвышался второй холм, – Левая.

– Еще одно красивое название?

– Ну да.

Наверное, есть какой-то глубокий смысл в том, чтобы давать простым вещам красивые названия. Дегтеобразный стул при раке желудка тоже называется красиво – «мелена».

От размышлений его оторвал Шериф. Баженов резко затормозил – так, что Пинт едва не пробил головой лобовое стекло.

Причиной остановки был маленький мужичок в пузыряющихся тренировочных штанах и расползающейся по швам футболке. На ногах у него были порваные кеды: правый зашнурован куском белого провода, а левый болтался как попало, мужичок приволакивал ногу, чтобы он не слетел.

– Караул! Убивают! – вопил мужичок во всю глотку. Он бежал к милицейскому уазику, нелепо размахивая руками.

Шериф вышел из машины, но мотор глушить не стал. Он поправил шляпу, подтянул штаны и сразу стал как-то солиднее, собраннее.

«Хозяин вернулся и обнаружил, что у него дома – бардак, – с легким оттенком злорадства подумал Пинт. – Но сейчас он наведет порядок беспрепятственной рукой».

Надо отдать должное Шерифу: выдержка ему не изменила. Он стоял на месте как вкопанный – до тех пор, пока мужичок не подбежал к нему вплотную.

– Чего орешь, Кузя? – негромко спросил Баженов. – Опять допился до чертиков?

– Какое там, Кирилл Александрович, – отмахнулся Кузя. Он был невысокого роста, и ему приходилось задирать голову, чтобы разговаривать с Шерифом. Вся шея у Кузи была покрыта коричневыми коростами, из-под которых сочился густой белый гной. Кое-где седая щетина пробивалась сквозь коросты, что придавало картине особенно живописный вид.

«Стрептодермия, – машинально отметил про себя Пинт. – Меня встречают мои пациенты, надо же, как трогательно».

– Там, у усатой Белки, – Кузя показывал большим пальцем себе за спину, – там Ивана убивают. Женя Волков. Зарежет к свиньям собачьим, Кирилл Александрович.

Шериф молча сел в уазик и рванул с места. Не глядя, он нашупал на панели какие-то тумблеры и переключатели, щелкнул ими, и под капотом пронзительно завыла сирена. На крыше замигали яркие огни световой сигнализации, даже в приглушенном свете дня Пинт видел голубые сполохи, мелькающие то с одной, то с другой стороны машины.

Похоже, люди живут здесь весело, решил он, и в животе приятно заурчало от ожидания близкой драки.

Странно, но сейчас он был целиком на стороне Шерифа, хотя еще полчаса назад ни за что не поверил бы в это.

* * *

Баженов затормозил у самого заведения, как всегда, очень резко, но на этот раз Пинт был готов – он уперся ногами в пол и для верности схватился за ручку, торчавшую под лобовым стеклом.

Шериф распахнул дверцу и проворно спрыгнул на землю. Большой уазик стоял, перегородив вход. Не раздумывая, Баженов шагнул в полутемное вонючее помещение. Мысли рабо-

тали четко, словно по секундомеру, в голове установился размежевенный и очень быстрый ритм. Время вязким туманом повисло на широких шерифских плечах, сейчас он опережал время – фантастический навык, выработанный годами. Может, для учителя начальных классов это бесполезное умение, но для Шерифа, если он хочет дослужить до пенсии, – совершенно необходимое.

То, что он увидел, подтвердило его самые худшие опасения. В дальнем углу жался Иван. Он вяло отмахивался бутылкой: при каждом взмахе из горлышка тонкой струйкой плескала мутноватая жидкость. В левой ладони Ивана, обращенной к нападавшему, торчала вилка. Казалось, весь скучный свет в этом убогом заведении падал на сверкающую ручку вилки и разлетался в полумраке серебристыми брызгами, словно от шара, крутящегося под потолком дискошки. Темная кровь стекала в рукав телогрейки, крупные капли падали на стол, которым он пытался загородиться. По другую сторону стола прыгал, пытаясь достать Ивана, Волков, дружки делали вид, что оттаскивают его, но не особенно усердствовали.

Баженов набрал полную грудь воздуха.

– Уру-ру! – крикнул он хриплым басом.

Услышав знакомый сигнал, означающий на блатном языке неожиданную атаку, Волков резко обернулся и увидел надвигающегося Шерифа.

– Ну что, падла, снова баланды захотелось? – Шериф широко шагая через зал, не обращая ни на кого внимания. Мамонтов и Качалов посчитали, что благоразумнее будет не связываться с Баженовым, и отступили от Волкова на шаг, точно так же, как пару минут назад сделал Кузя. – Во вкус вошел? Ничего. Второй срок я тебе на рога намотаю. Не хуже первого. – Он говорил все это на ходу, глядя Волкову прямо в глаза, и так же, не замедляя движения, отрывисто и сильно ударил его ногой в пах.

– А-А-АХХХ!!! – Волков задохнулся от страшной боли и согнулся пополам, как складной нож.

Баженов обеими руками ухватил его за тощую шею и с размаху ударили лицом об стол. Что-то хрустнуло: то ли столешница, то ли нос, не разберешь, потому что Волков упал ничком на пол, вытянулся и замер, были видны только взъерошенные рукой Шерифа волосы на его затылке и выступающие худые лопатки.

– Ну, ты чего, Саныч? – с укоризной и в то же время стараясь, чтобы его голос звучал как можно более миролюбиво, сказал Мамонтов. – Чего разошелся-то?

Шериф так резко развернулся в его сторону, что опешивший Мамонтов попятился.

– Ты, – Баженов ткнул в него крепким пальцем, – и ты, – это относилось уже к Качалову, – приведете его ко мне в участок, когда очухается. Вопросы?

Парни молчали. Внезапно на сцене возник еще один персонаж. Его появление не было запланировано по ходу пьесы, но всем своим видом он ясно давал понять, что сейчас – время его монолога. И не дай бог кто-нибудь посмеет его перебить. Не дай бог! Ведь он, черт побери, настоящий Шериф. И сейчас ружье в ЕГО руках, если вы понимаете, о чем идет речь. Ребята в заведении усатой Белки это понимали.

– А ты, – кивнул Шериф Ивану, – пойдешь со мной.

Иван отодвинул стол и послушно засеменил за Шерифом. Правой рукой он крепко обхватил запястье левой, но кровь все равно не унималась: сочилась из раны и капала на пол.

Шериф шел по залу, не глядя по сторонам. Казалось, он не обращает ни на кого внимания, но это было обманчивое впечатление – достаточно было взглянуть на бугрившиеся под рубашкой мускулы, чтобы понять: он готов отразить любое нападение. Причем отразить настолько жестко, что лучше не испытывать судьбу – она, как любая женщина, всегда на стороне победителя.

На пороге его встретил Пинт. Он уважительно покачал головой и сказал одно лишь слово:

– Впечатляет.

Шериф молча кивнул ему в ответ и обратился к Ивану:

– Залезай назад. Закапаешь кровью сиденье – сам будешь отмывать.

– Конечно, конечно.

Шериф сел за руль, выключил «светомузыку» и со злостью прощедил сквозь зубы:

– Когда-нибудь я подпалю к чертам эту усатую Белку.

Тон, которым он это произнес, не позволял усомниться в твердости его намерений.

Пинт, наделенный богатым воображением, уже видел перед глазами эту картину: объятый пламенем огромный деревянный сарай, голубыми вспышками взрываются бутылки с чистейшим самогоном, и черные фигурки, в ужасе закрывая голову руками, скачут через разбитую витрину и узкий дверной проем на улицу, подбадривая себя вялым матом.

Баженов со скрежетом – музыка, давно ставшая привычной для всех, кто ездит на уазике, – включил первую, и они покатили обратно, поднимаясь вверх по Московской улице.

Пинт с опаской оглядывался на их странного пассажира.

Похоже, моим первым пациентом в Горной Долине станет именно этот парень с вилкой в руке. Кровотечение довольно сильное. Наверняка задет какой-то сосуд. А может, и нет. Черт, надо незаметно достать из чемодана анатомический атлас и учебник по оперативной хирургии. Шесть лет учился и не помню, как у человека располагается пальмарная артериальная дуга. Тем более не помню технику операции, когда она повреждена. Дело дрянь, приходится признать, что в профессиональном плане Шериф справляется со своими обязанностями куда лучше меня. Не хотелось бы ударить перед ним лицом в грязь.

– Голова не кружится?

Пинт повернулся к Ивану и спрашивал это с ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УЧАСТЛИВЫМ видом, морщил лоб и хмурил брови, так, словно от ответа зависело СЛИШКОМ многое.

«А больной перед смертью потел?» – «А как же доктор, потел, ой как потел!» – «Это хорошо, очень хорошо».

– Да нет. Чего ей кружиться? Я же не пьяный.

– Это наш новый док, – бросил через плечо Шериф. – Он заштопает твои дырки в два счета, не успеешь оглянуться.

– А-а-а… – В голосе Ивана появился оттенок уважения. Док – это круто. Док – это первый человек. После Шерифа. И, возможно, после Белки.

Больница оказалась совсем рядом – через дом от заведения усатой Белки вверх по Московской улице. Двухэтажное приземистое здание из красного кирпича, крытое блестящим кровельным железом. Рядом, под сенью высокого тополя, притулился маленький зеленый домик.

«Наверное, это и есть тот самый домик для персонала, – подумал Пинт. – Ничего, снаружи он выглядит уютным. Не слишком роскошным, но уютным».

Баженов свернулся на небольшую подъездную площадку перед больницей, усыпанную мелким хрустящим гравием. Остановившись, он несколько раз посигналил. Пинт заметил, как в одном из окон второго этажа на мгновение взметнулись белые занавески.

Нас кто-то встречает. Это уже неплохо.

Баженов вышел из машины первым, следом за ним – Иван, державший на весу искалеченную руку, последним – Пинт, тащивший за собой чемодан, набитый в основном медицинскими книгами.

Они вошли в здание больницы и оказались в большом гулком коридоре. Пол и стены были выложены кафелем – обычный интерьер для учреждений Минздрава. От блестящего кафеля отскакивает все – плач, боль, последние надежды и ненужные слова утешения, наверное, еще со времен Гиппократа все больницы выкладывают кафелем.

В коридоре их встретил невысокий полный мужчина с седыми редкими волосами, зачесанными назад. Из-под несвежего халата, с трудом сходившегося на животе, торчали короткие коричневые брюки. Шнурки стоптанных полуботинок мужчина заправлял в носки.

Он поздоровался за руку с Баженовым.

– От Белки! – коротко бросил Шериф и брезгливо поморщился.

На Ивана врач взглянул лишь мельком и обратился к Пинту:

– Здравствуйте, коллега! Я – Тамбовцев. Валентин Николаевич. Волею судеб вот уже четыре десятка летправляю обязанности местного эскулапа. Кстати, этого… – Он обернулся на Ивана и строго прикрикнул: – Не стой, как столб! Проходи в малую операционную. – И, увидев на его лице немой вопрос, с досадой пояснил: – Предпоследняя дверь направо. Направо, понял? Это та рука, где у тебя нет вилки. – Иван кивнул и пошел вслед за Шерифом по коридору. – Так вот, этого тоже я принимал. Непростые были роды. Помогал появиться на свет, так сказать. А теперь помогаю как можно позже его покинуть, хотя… – Тамбовцев развел руками, – тут, к сожалению, от меня мало что зависит.

Пинту понравилась манера Тамбовцева говорить: иронично и немного вычурно. И вообще, этот седой толстый дядька сразу располагал к себе. Он больше напоминал шеф-повара в захолустном привокзальном ресторане, чем врача: старый, давно не стираный халат, коричневая расческа, торчавшая из нагрудного кармана, но больше всего умиляли шнурки, аккуратно заправленные за резинки носков.

– Как доехали? – понизив голос, спросил Тамбовцев. – Шериф… мmm… ничего такого? То есть, я хочу сказать, все в порядке?

Пинт улыбнулся, вспомнив недавнее происшествие в лесу.

– Все в порядке, Валентин Николаевич. Пинт. Оскар Карлович Пинт. Доехали замечательно. С ветерком.

Доктора искренне пожали друг другу руки, ладонь у Тамбовцева была мягкая, как подушка, но очень крепкая.

Тамбовцев внимательно посмотрел Пинту в глаза, словно хотел прочитать в них то, что осталось недоговоренным. Наверное, все-таки прочитал, потому что недоверчиво покачал головой и сказал вполголоса, как бы про себя:

– Угу. Ну и слава богу. Ведь если бы что-то было не в порядке, вы бы не приехали. Я прав?

– Совершенно, – заверил его Пинт. – Со мной все нормально. А вот с тем малым, у которого в руке торчит вилка… Я не уверен.

– А, вилка! – отмахнулся Тамбовцев. – Однажды – лет этак двадцать назад – мне пришлось вытаскивать кусок заточенной арматуры, застрявший между ребер. И что вы думаете, я не доел сначала суп?

Увидев искреннее недоумение в глазах Пинта, Тамбовцев рассмеялся.

– Конечно, не доел. А потом понял, что напрасно торопился. Тот пациент – Господь ему навстречу! – здравствует и поныне и второй тост неизменно поднимает за мое здоровье. Знаете, врач, работающий в таком месте, как Горная Долина, должен быть немножко Богом. Он обязан творить маленькие каждодневные чудеса, исцелять страждущих наложением рук и добрым словом. Увидите сами, если задержитесь здесь хотя бы на неделю.

– А за кого он поднимает первый тост?

– Не за кого, а за что. За то, чтобы как можно реже встречаться со старым дурнем Тамбовцевым – ведь я все делал без наркоза. На наркоз не было времени, да и анестезиолог из меня никудышный – я привык на всем экономить, даже на эфире.

– Простите… И как же вы вытащили арматуру? – Пинт уже запутался, он не понимал, где правда, а где вымысел.

– Да очень просто. Как Пирогов в Крымскую кампанию. Дал выпить страдальцу стакан спирта, а когда паренька хорошенько забрало – врезал ему в лоб. Он и отключился – на пять минут, но мне этого хватило. Перевязки, кстати, проходили по такому же сценарию. Наверное, поэтому он сбежал раньше, чем я сломал руку об его чугунную голову. В общем, все остались

довольны. Кстати, не желаете провести первую операцию? Получить, так сказать, боевое крещение?

Пинт замялся. С одной стороны, все эти книги, которые он притащил с собой, теперь казались ему бесполезным грузом – едва ли там можно найти описание операции по извлечению вилки из мягких тканей кисти – но все же… У него не было той уверенности в себе, какую излучал Тамбовцев.

– Вижу, вы устали с дороги, коллега. Понимаю. Но, надеюсь, вы не откажете старику в маленькой любезности: ассистировать мне, пока я буду извлекать столовые приборы из трехпетной плоти? Почту за честь!

– Конечно, Валентин Николаевич. Где можно вымыть руки и взять халат?

– Все необходимое получите на месте. Оставьте свои пожитки – здесь их никто не тронет – и пойдемте со мной. Вернем Белке ее вилку. А то, – Тамбовцев покачал перед носом у Пинта коротким толстым пальцем, – она меня со свету сживет, – и он покатился по коридору туда, куда минутой раньше направились Баженов с пострадавшим. Да… Кажется, я понял. Вилку придется вернуть.

* * *

Тамбовцев катился по коридору с неожиданным для его комплексии проворством, при этом он потешно размахивал короткими руками, словно пробивался сквозь тучи невидимой мошки.

Пинт помедлил секунду, подыскивая место, куда можно поставить чемодан – а! да какая разница! – прислонил его к стене и поспешил следом за Тамбовцевым.

На стенах висели пожелтевшие от времени стенгазеты и плакаты. На одном запущенный субъект зеленого цвета тянул костлявую руку к такой же зеленой бутылке, но огромный рабочий, почему-то с ног до головы красный, в комбинезоне, грубых ботинках и каске, крепко держал зеленого за шиворот. Надпись внизу картинки гласила: «Трезвость – норма жизни!»

На другом красовалась гигантская сигарета, размерами и дымностью превосходящая любую заводскую трубу. С ярко-желтого фильтра стекала капля черной жидкости, а под ней, неестественно вывернув шею, лежала коротконогая лошадь. Надпись доверительно сообщала, что такое случается со всеми лошадьми, вздумавшими попробовать каплю никотина.

Третий был и вовсе без затей: на нем зловеще ухмылялась неестественно большая муха с волосатыми ногами. Эмоциональная надпись безапелляционно утверждала, что «Мухи – источник заразы!». Не разносчики, но именно источник. Впрочем, глядя на ее волосатые ноги и раздувшееся брюхо, сомневаться в этом не приходилось.

Тамбовцев – где-то там, далеко, в самом конце коридора – свернул направо и скрылся за белой дверью. Пинт прибавил шагу и потому не смог уделить должного внимания таким бесспорным изречениям, как: «Желтуха – болезнь немытых рук», «Аборт – твое одиночество», и душераздирающему призыву: «Берегите зрение!» Он почти бежал, проклиная себя за нерасторопность: надо же, обещал ассистировать, а сам – ни с места. Еще подумают, что он боится. Пинт нашел предпоследнюю правую дверь и рывком открыл ее.

Малая операционная вполне оправдывала свое название: тесная комната размерами пять на пять метров, с единственным окном напротив входа и мощной бестеневой лампой, прикрепленной к потолку. В левом дальнем углу стоял автоклав, распространявший запах ржаных сухариков. Рядом с ним крутился Тамбовцев, что-то весело напевая себе под нос. Он разворачивал пакеты из коричневой бумаги и со звоном высypал из них инструменты в лоток.

«Словно накрывает на стол», – поймал себя на мысли Пинт.

Посередине комнаты гордо, как на коне, восседал на стуле Иван. Левую руку он вытянул перед собой и положил ладонью вверх на небольшой столик, застеленный белыми салфетками.

У окна стоял Шериф и крутил в пальцах незажженную сигарету.

Пинт снял пиджак и повесил его на вешалку, стоявшую справа от двери. Он засучил рукава рубашки, подошел к маленькой раковине и открыл единственный кран. Кран ответил тонкой струйкой желтоватой воды. Пинт тщательно намылил руки куском коричневого хозяйственного мыла и так же тщательно смыл пахнущую дегтем пену.

На вешалке висел белый халат, по виду – брат-близнец того, что был надет на Тамбовцеве. Пинт с сомнением огляделся, но никакого другого халата в комнате не было, и он натянул этот. Рукава, правда, были коротки, и он закатал их до локтей.

Теперь я тоже смахиваю на повара. Или на мясника.

Пинт подошел к столику.

– Ну что же, коллега, – промурлыкал Тамбовцев. – Начнем, пожалуй. – Он взял пинцетом большой марлевый тампон.

– Э, Николаич! – забеспокоился Иван. – Как насчет… анестезии? – Желтым прокуренным пальцем он щелкнул себя по горлу.

– Тебе достаточно, – отрезал Тамбовцев, взял пузырек с нашатырным спиртом, открыл его и протянул Ивану. – На-ка вот, подыши. Вздорись.

Иван со вздохом взял пузырек и крепко зажал в правой руке.

– Я в порядке. Если будет надо, нюхну.

– Вот и умница. – Тамбовцев взял флакон побольше, непрозрачный, из коричневого стекла. На нем было написано: «Перекись водорода». Тамбовцев стал аккуратно промывать ладонь вокруг торчащей вилки и промокать рану марлевым тампоном. Перекись шипела на руке Ивана, как сотня маленьких гейзеров. Шапки прозрачной пены размыли кровяные сгустки, и скоро стало видно кожу: четыре зубца стальной вилки торчали, как опоры моста, соединявшего линию жизни с линией любви.

Левой рукой Тамбовцев придавил руку Ивана к столику, а правой – молниеносным движением вытащил вилку. Из отверстий выступила кровь, но ее было не так много.

– Сосуды не задеты, – небрежно махнул рукой Тамбовцев. – Шить ничего не придется, заживет, как на собаке.

– Валентин Николаевич? – вмешался Пинт: – Может, снимок сделаем?

– Зачем?

– Ну… может, там перелом…

Тамбовцев посмотрел на Оскара с удивлением.

– Вилкой? Сломать кости? Да это и охотничим ножом непросто. Лезвие пойдет по линии наименьшего сопротивления, сквозь мягкие ткани. При условии, конечно, что рука не будет фиксирована. Ну-ка, голубчик, – обратился он к Ивану, – сожми кулак.

Иван уставился на свою руку так, словно она сама по себе, независимо от его воли, решила показать какой-то потешный фокус. Пальцы дрогнули и стали медленно сжиматься.

– Давай, не бойся, – строго сказал Тамбовцев. – Жми крепче.

Грязные заскорузлые пальцы с длинными ногтями, увенчанными черными полумесяцами, уверенно сложились в худой загорелый кулак.

– Во! – гордо сказал Иван.

– Ну, вот и хорошо, – промурлыкал Тамбовцев. – А вы говорите – снимок. Клиническая диагностика – прежде всего. Рентген – это дополнительный метод исследования, в данном случае он не показан. Бинтовать – и вся недолга. Надо только положить какой-нибудь мази, типа стрептомициновой. Была бы вилка серебряная – можно было бы не дезинфицировать. Но у Белки столового серебра, к сожалению, нет. Иван тоже хороши – выбирает местечки попроще. Вот, скажем, если бы его чинно-благородно пропороли где-нибудь в Дворянском собрании, какой-нибудь Свирид Капитонович Шереметев… Или Пантелеимон Прокофьевич Голицын… А то ведь… Кстати, кто тебя так?

– Женька. Волков, – с неохотой ответил Иван.

– А, знаем мы эту династию. – Тамбовцев говорил и ловко бинтовал Ивану руку. Такой ловкости Пинт не видел даже у операционных сестер в Александрийске. Бинт мелькал в его пухлых руках, проскальзывал между пальцами Ивана, забегал на костистое запястье, никогда не знавшее ошейника часов, порхал, оставляя за собой широкий марлевый след. Наконец Тамбовцев надорвал конец бинта и сделал красивый узел. – Вот и все. А вы говорите: снимок. Ну что же? Как говорится, дай бог здоровья этому телу. – Тамбовцев почему-то подмигнул Шерифу. Тот еле заметно кивнул в ответ.

– Здесь у нас, батенька, все гораздо проще, чем в столичных городах. – Тамбовцев быстро ополоснул руки под краном, вытер их об край халата и расставил в ряд три мензурки. Он призывно кивнул Шерифу, тот коротко ответил:

– Как обычно.

– Точнее, – разглагольствовал Тамбовцев, наливая в мензурки до половины из большого флакона с надписью «Спирт», – у нас-то как раз все сложнее. Но мы относимся ко всему проще. Поживите здесь с мое, и вы поймете, что по-другому нельзя.

Из большого стакана он долил в две мензурки воды, в третью доливать не стал, взял ее в левую руку, а стакан – в правую.

– Ну, чего ждем? Гидролиз спирта проходит с выделением некоторого количества тепла. Проще говоря, водка нагревается. Берите, коллега, не стойте, как засвятанный.

Правую мензурку взял Шериф, левую – Пинт. Не очень уверенно – он еще не привык заканчивать малую операцию ста граммами разведенного спирта, но в Горной Долине, видимо, это давняя и прочная традиция, которую нужно уважать.

– За твое здоровье, Ваня, – торжественно сказал Тамбовцев и опрокинул в рот чистый спирт. Затем он шумно выдохнул и запил водой. – Привычка, – пояснил он, заметив удивленный взгляд Пинта. – Предпочитаю употреблять чистый продукт. Никогда не развозжу, только запиваю.

Шериф усмехнулся и выпил свою порцию. Пинту ничего не оставалось, как присоединиться к ним.

Теплый разведенный спирт приятно ущипнул горло и огненным комком упал в желудок. Пинт запомнил обиженное лицо Ивана: мол, а как же я? Мне-то почему не дали?

– Ты, Ваня, раненый. Тебе нельзя, чтобы не спровоцировать кровотечение. – Тамбовцев сказал это таким серьезным тоном, что Пинт поневоле улыбнулся.

– Николаич… А если? Чуток? Тамбовцев покачал головой:

– Нет, дружочек. Даже не проси. Сам понимаешь – клятва Гиппократа. Что подумает про нас коллега? Что я спаиваю людей ничуть не хуже усатой Белки? Ты это брось – не позорь меня.

– Кстати, насчет усатой Белки, – подал голос Шериф. – Что там у вас случилось? Мне надо знать, как было дело. Волков скажет одно, ты – другое. Я должен докопаться до сути. Так что, давай, рассказывай.

– А чего там рассказывать? – сразу замкнулся Иван. – Он наехал, я ответил. Он схватил вилку – и на меня. Вот и все.

– Нет уж, давай по порядку. – Шериф зажег сигарету и выпустил дым в потолок.

«Ни хрена себе малая операционная. Здесь и пьют и курят. Тоже мне, асептика с антисептикой, – промелькнуло в голове у Пинта. – Правда, здесь еще вытаскивают вилки из руки, да так виртуозно, словно занимаются этим по три раза на дню, вместо завтрака, обеда и ужина. – Его охватила гордость за профессию и за Тамбовцева. – Вот это – настоящий док. Так же, как Шериф – настоящий шериф. Простые и правильные мужики, спокойно делающие свое дело. С такими не страшно. С такими можно в разведку, если выражаться избито».

– Рассказывай, – немного лениво сказал Шериф. – Все равно узнаю.

Иван замолчал, он внимательно рассматривал свою забинтованную руку. На ладони медленно проступало алое пятно с нечеткими желтыми очертаниями.

– Кобель у меня пропал, Саныч, – неожиданно сказал он. – Три дня назад.

– Ну и что? Он у тебя постоянно убегает. Ты же его не кормишь.

– Да нет. В этот раз все было не так. Он словно чего-то боялся. Выл всю ночь, спать не давал. А потом я вышел из избы, хотел ему врезать… Успокоить то есть… А он побежал от меня. Я – за ним. Он бежит и воет. Понимаешь?

– Ну и что? – Шериф еще выглядел спокойным. Потом, спустя минуту, Пинта поразил этот мгновенный переход от спокойствия к тревоге, даже не тревоге, а еле скрываемой панике: Баженов словно еще раз вошел в заведение усатой Белки – плечи стали шире и напряглись, руки непроизвольно сжимались в кулаки, будто искали ружье. Но пока Шериф был спокоен.

– Ну и… – Иван выглядел испуганным, он с трудом подбирал слова. – Он привел меня к заброшенной штольне… Сел на краю… и воет.

В операционной воцарилась такая тишина, что было слышно, как, шипя и потрескивая, тлеет сигарета Шерифа. Она додорела почти до самого фильтра и уже обжигала Баженову пальцы, но он не обращал на это внимания. Слова про заброшенную штольню произвели на него ошеломляющее впечатление. Он застыл на месте, как каменное изваяние, с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. Постепенно черты его лица расслабились, будто обмякли, и тогда Пинт впервые увидел, КАК Баженов боится. Какое у него при этом лицо.

Пинт оглянулся на Тамбовцева, и ему стало еще тревожнее. Старый док выглядел так, будто его сейчас хватит удар, лицо налилось свекольным соком, губы затряслись, а стакан в руке ходил ходуном, норовя выплыснуть на Ивана остатки воды.

Шерифу потребовалась целая минута, чтобы взять себя в руки.

– И что же ты… видел? У заброшенной штольни, – через силу спросил он. Иван пожал плечами:

– Ничего. Вроде ничего не было. Только… жутко там. Не по себе как-то, аж мороз по коже.

Он наморщил лоб, словно вспоминал что-то.

– И еще… – Иван понизил голос до шепота, – свет какой-то оттуда. Слабый такой, зеленоватый… Как в «жигулях» от панели приборов.

Иван сделал паузу, осмотрел раненую руку.

– Струхнул я, Саныч, если честно. Не знаю, почему, но струхнул. Как дунул оттуда! Малыша с собой звал, а он лег брюхом на край и воет. Жалобно так, как по покойнику. Я ему: «Ко мне, Малыш!», а он – ни в какую. Будто не слышит. А утром – не пришел. И на следующий день – тоже. Как в воду канул. Только я туда больше ни ногой. Жутко там, Саныч. Чертовщина какая-то!

Пинт услышал за спиной звяканье стекла. Он обернулся: Тамбовцев разводил спирт, но не в мензурке, а в стакане. Развел пополам и протянул Ивану.

– Ты, Ваня, вспомни хорошенько, – ласково сказал он. – Ты никому больше не говорил про заброшенную штольню?

– Валентин Николаевич, – подал голос Шериф, – может, не стоит? При посторонних-то? – Он кивнул головой в сторону Пинта, так, словно только что его заметил.

– А я думаю, – повернулся к нему Тамбовцев, стакан, уже почти схваченный Иваном, резко уплыл вправо – в руке Ивана вместо вожделенного раствора остался чистый воздух, – свежая голова нам не повредит. У каждого, знаешь, есть свои скелеты в шкафу…

– Я полагаю, – отрезал Шериф, – что мы сами в состоянии решить свои проблемы.

Пинт почувствовал себя крайне неловко. Между Шерифом и Тамбовцевым возникли разногласия, и причиной был он. Не дожидаясь, пока разногласия перерастут в открытый конфликт, Оскар снял халат, накинул пиджак и спросил:

– Валентин Николаевич, вы не будете возражать, если я осмотрю пока домик?

Тамбовцев уставился на него таким взглядом, словно впервые видел. В глазах у него напряженно билась какая-то мысль, но к маленькому зеленому домику под высоким тополем она явно никакого отношения не имела.

– Что? – переспросил Тамбовцев, встряхнувшись. Ему удалось взять себя в руки и отогнать страшное видение, возникшее перед мысленным взором: поросшая густой травой пашня заброшенной штольни, неизвестно ком, когда и с какой целью выкопанной на глухой лесной поляне. – Какой домик?

– Ну, домик. Для персонала. Там, где я буду жить.

– А-а-а! – Тамбовцев от досады даже махнул на себя рукой. – Домик! Ну конечно! Вот, пожалуйста, ключи! – Он протянул Пинту увесистую связку. – Я точно не знаю, какой из них, поэтому, не считите за труд, подберите сами.

– Спасибо! – Пинт развернулся и, смущенно кланяясь, вышел из кабинета. Он ощущал беспринципную неловкость, словно застал Тамбовцева и Шерифа за неким постыдным занятием.

Оскар прошел назад по коридору, поднял оставленный чемодан и вышел на улицу. Пока он пересекал маленькую площадку перед больницей, гравий приятно хрустел под ногами, как свежевыпавший снег.

Пинт поднялся на крылечко, вытащил связку ключей. Подобрать нужный не составило большого труда, Пинт попал со второй попытки. Плоский латунный ключ со скрипом повернулся в личинке замка, и дверь дрогнула, освободившись. Оскар широко открыл ее и принялся оглядываться в неярком свете пасмурного дня.

Квартирка была крошечной, но, как он и ожидал, очень уютной. Размерами домик напоминал жилище гномов, и Оскар почувствовал себя огромной и нескладной Белоснежкой, которая непонятно зачем приперлась сюда в отсутствие хозяев. Маленькая кухонька, маленькая газовая плита на две конфорки, туалет и пожелтевшая ванна, в которой можно мыться только стоя. Комната была размером с большой шкаф, в углу, под единственным окошком, стояла узкая и короткая кровать, рядом с ней – колченогий стол.

Пинт нашел электрический щит и включил рубильник. От одиноко висевшей лампочки поднимался извитой провод, он пересекал потолок под прямым углом и спускался по стене рядом с дверным косяком. Пинт нашупал выключатель, и комната озарилась слабым электрическим светом.

Повсюду лежал толстый слой пушистой серой пыли – на подоконнике, на столе, на полу. Висевший на стене предмет, который Пинт поначалу принял за картину или литографию, оказался зеркалом, завешенным тряпкой.

Пинт подошел к зеркалу и осторожно снял занавесь. Пыль мягкими хлопьями закружилась в воздухе. Оскар посмотрел на свое отражение: густые светлые волосы, высокий лоб, изборожденный двумя продольными и двумя поперечными, поднимающимися над переносицей (складки «гордецов» – так это называется в анатомии) морщинами, крупный, немножко кривой нос, грустно опущенные уголки рта…

Внезапно Пинт увидел, как изменилось выражение его лица. Все черты вдруг заострились, и краска отхлынула от щек. Он видел себя будто на экране ужасного кино, где за несколько секунд, с помощью умелого грима и спецэффектов, молодого человека превращают в глубокого старика. Эта мгновенная перемена сильно поразила и испугала его, не в силах сдержать подступивший страх, Оскар вскрикнул.

Вскрик подействовал отрезвляющее, как ведро холодной воды. Он пришел в себя и снова посмотрел на отражение. В зеркале был прежний, тридцатилетний Оскар Пинт, ну разве что немного уставший от всех волнений сегодняшнего сумасшедшего дня.

Да еще освещение здесь... такое... Он не успел додумать эту мысль до конца, уяснить, какое здесь освещение, потому что понял, что же на самом деле его так поразило.

Кусочек фотографического картона размером три на четыре, засунутый за рамку зеркала в нижнем левом углу, Пинт увидел его периферическим зрением, и, пока смотрел на свое отражение, зрительный образ этого кусочка пребывал в глубинах подсознания, медленно всплывая на поверхность, как пузырек газа из океанской пучины. Наконец он вырвался на свободу, с шумом лопнул и ушел в воздух, воссоединившись с привычной средой.

Фотография. Точно такая же, как та, что лежит в моем бумажнике. Лиза! Меня здесь ждут, значит, все это не напрасно. Все, что мне пришлось вытерпеть и пережить — лишь малая доля того, что еще предстоит, но главное — все это не напрасно.

Пинт потянулся к фотографии, но долго не мог ее взять, руки у него дрожали, и тело тряслось, как в ознобе. Он почувствовал, как подогнулись колени, и голова закружилась. Ему пришлось опереться левой рукой на стенку, пока непослушными пальцами правой он вытаскивал фотографию из-за рамки.

— Лиза! Лиза! — повторял он и плакал. Слезы, независимо от его воли, текли по щекам. Не было ни всхлипов, ни рыданий, просто горячие слезы заливали его лицо, как осенний дождь заливает стекло. — Лиза! Я здесь, я рядом. Я читаю знаки, оставленные тобой. Я найду тебя. И больше никогда не потеряю!

* * *

Март пролетел незаметно. Пинт отчаянно боролся с весенней грязью. Всякий раз, выходя из подъезда, он, как опытный полководец, намечал план сражения с этой привычной российской стихией. В ход шли любые средства: длинные прыжки, обходные маневры, перелезание в одном месте через низкий заборчик и даже перенос по воздуху, где роль транспортного вертолета играл рейсовый автобус, ходивший от его дома почти до самой больницы. Кроме того, Оскар купил себе маленькую складную щетку для одежды и дважды в день — прия на работу и вернувшись домой — счищал с брюк ненавистную грязь.

Ботинки тоже не могли пожаловаться на недостаток внимания со стороны хозяина: он начищал их до зеркального блеска, а на работе полировал специальной губкой.

И вообще, Пинт стал придавать большое значение своему внешнему виду и даже подумывал о том, как бы ему обновить скучный гардероб.

Он был влюблён, хотя сам до конца не мог в это поверить. Влюбиться в фотографию? Вздор! Просто... просто у девушки на фото очень красивое лицо. Александрийск — небольшой город, рано или поздно я ее встречу. Это может случиться в любой день, в любую минуту, соответственно, я должен быть к этому готов.

Иногда в фантазиях ему рисовалась следующая картина: он на дежурстве, безмерно уставший, но тем не менее всемогущий, он царь и бог среди ущербных разумом, он утешает скорбных духом и вселяет в них надежду на исцеление. И вдруг — звонок. «Доктор Пинт! Срочно пройдите в приемное!» Быстрым шагом он идет по подземным переходам, предчувствуя что-то недоброе, небрежно накинутый халат развевается за спиной. Входит в приемное, и там, в желтом свете тусклой лампочки видит ее...

В этом месте фантазия начинала буксовать. Черт! А с какой стати ее должны привезти в психиатрическую клинику? Она что, душевнобольная?

Ну почему обязательно душевнобольная, поправлял он себя. Она... Она, например, совершила суициdalную попытку. Во как! На почве несчастной любви.

Нет, этот вариант не подходит. Так поступают только недалекие и неуравновешенные девушки. Разве про девушку на фото можно сказать, что она неуравновешенная? И вообще, про какую любовь может идти речь, если мы с ней еще не встретились?

Ну хорошо. А почему она вообще должна быть больна? Она... привезла в больницу подругу, которая совершила суициальную попытку на почве несчастной любви. А? Это как?

Он морщился. Уже лучше, но тоже как-то... не того. Почему у нее такие подруги? И почему все крутится вокруг несчастной любви? Почему это любовь, черт ее подери, должна быть обязательно несчастной?

Нет, все будет по-другому. Я встречу ее на улице. В дождь. Она будет стоять под навесом булочной и ждать, потому что у нее нет зонта. И тут подойду я и предложу проводить ее до дома. Она скромно опустит глаза – всего лишь на мгновение – и согласится. Я буду идти рядом, держа зонт над ней. Сам я весь вымокну, и она будет это видеть, но не скажет ни слова. А когда мы приедем к ее дому, я все прочту в ее глазах. И она легко поцелует меня в мокрую и холодную от дождя щеку и скажет: «Спасибо!» И я, великолушно улыбнувшись, пойду дальше, слегка ссутулившись, а она будет смотреть мне вслед из окна подъезда...

И увидит твои грязные до колена штаны. Хе-хе! Герой-спаситель в грязных штанах!

Ни один вариант знакомства не годился. В каждом, как повидло внутри пирожка, заключался какой-то изъян.

Оскар ломал голову, но ничего путного придумать не мог. В одном он был уверен твердо: рано или поздно он эту девушку встретит.

Потом уже, спустя некоторое время, он понял, откуда у него возникла такая уверенность. Он ДОЛЖЕН был ее встретить. И этот странный случай с фотографией был не просто дешевым фокусом, «cheap trick», который иногда выкидывает судьба, чтобы позабавиться, наблюдая за нашей реакцией, вовсе нет, это был знак, который он, к счастью, сумел прочесть.

Пройдет еще много лет, прежде чем он поймет: у судьбы вообще не бывает дешевых фокусов.

* * *

В конце апреля, когда грязь везде уже подсохла и Пинт сбросил старое пальто с пузьрями на локтях, сменив его на такой же пузырчатый пиджак, когда пациентов в психиатрической клинике стало больше, а свободного времени – меньше, когда он стал бегать по утрам: сначала – с опаской, чтобы не заметили соседи, а потом, по мере того как исчез небольшой живот и улучшился цвет лица – с чувством законной гордости, когда он почти бросил курить и растягивал пачку сигарет на четыре дня, а про пиво и думать забыл, что позволило выкроить некоторую сумму на новые джинсы, – именно тогда все и случилось.

Пинт пришел в университетскую библиотеку, чтобы взять репринтное издание учебника Блюлера, одного из отцов-основателей современной психиатрии. Он хотел знать, насколько изменились взгляды на шизофрению с начала двадцатого века и до наших дней. Кроме того, его очень занимали особенности течения психических заболеваний у детей.

Оскар быстро нашел то, что ему было нужно, и сел тут же, в читальном зале, выписывая самые интересные моменты. Учебник он знал хорошо и поэтому свободно ориентировался в материале.

Он любил университетскую библиотеку. Несмотря на то что Александрис был небольшим городом, да и университет был одним из самых маленьких в стране, библиотека поражала своей величиной и богатством даже заезжих ученых из обеих столиц.

Здание библиотеки было больше, чем главный корпус университета, а уж хранилище и вовсе необъятным, никто и не знал, что таится под его тихими сводами, что ждет своего часа в его прохладных недрах.

Пинт присел за стол, включил лампу и стал выписывать в блокнот нужные куски. Эта работа никогда не утомляла его. Он делал множество сокращений, понятных только ему,

основные тезисы подчеркивал, определения помечал волнистой линией. Его так увлекло это занятие, что он не заметил, как кто-то сел напротив.

Он все же оторвался на секунду – когда перелистывал страницу – и бросил беглый взгляд перед собой, потом снова уткнулся в блокнот. И вдруг… холодок пробежал между лопатками, и во рту пересохло. Он сидел, тупо уставившись в стол, и боялся поднять глаза, боялся, что этот мираж исчезнет. Если не смотреть, у меня останется хотя бы надежда. Все еще не веря беглому восприятию – может быть, я вижу лишь то, что хочу видеть? – он заставил себя посмотреть еще раз.

Это была она.

Та, девушка с фотографии, сидела по другую сторону стола. Сомнений не было: толстая русая коса, изящная шея, голубые глаза, и даже блузка на ней была та же самая – белая, без воротника, с узкими красными и синими полосками вокруг выреза.

Пинт зажмурился и помотал головой. Девушка улыбнулась.

– Я не исчезну, – сказала она. Оскар улыбнулся ей в ответ.

– Это было бы ужасно. Не знаю, как бы я это пережил… – Он осекся. Чуть было не выложил, что давно ее знаю. Интересно, как бы она отнеслась к моему рассказу о краже из фотосалона? Покрутила бы пальцем у виска? Или просто рассмеялась? – Я хотел сказать, что вы… прекрасно выглядите… – Он прикусил язык. Чуть было не ляпнул «гораздо лучше, чем на фотографии».

Девушка снова улыбнулась. Она все время улыбалась. Казалось, сама природа создала ее лицо для этой легкой, нежной, какой-то даже виноватой улыбки.

– Что вы читаете? – спросила она.

– «Психиатрию» Блюлера. Собственно, не читаю, а перечитываю. Я… – тут Пинт расправил плечи и постарался добавить значительности своему голосу, одновременно чувствуя, что выглядит при этом довольно глупо, – психиатр. Заканчиваю ординатуру, – произнес он уже тоном попроще и побыстрее, чтобы не останавливаться на том досадном моменте, что он пока только ординатор.

– Говорят, если посадить психиатра с больным, считающим себя Наполеоном, на целый год в отдельную палату, то еще неизвестно, кто оттуда выйдет: два нормальных человека или два Наполеона. Это правда?

Пинт хотел было снова напустить на себя важность и начать рассуждать о том, что настоящий врач, конечно, всегда принимает переживания пациента всерьез, близко к сердцу, но при этом никогда не забывает, что должен существовать некий защитный барьер, который… Но девушка была так мила и открыта, что подобная напыщенность показалась ему неестественной и ненужной.

– Да… Скорее всего, два Наполеона. И вообще, – он перегнулся через стол, и понизил голос до заговорщика шепота, – скажу вам откровенно – в нашу специальность идут только люди особого склада.

– Потенциальные сумасшедшие?

– Точно. – Он подмигнул ей. А ведь я недалек от истины. Интересно, что бы ты сказала, узнав, что я стащил твои фотографии? – И один из них – перед вами. Позвольте представиться – Оскар Пинт. – Он церемонно поклонился.

Теперь девушка не просто улыбалась – она весело смеялась, да так громко, что толстая девица в желтом платье с влажными кругами под мышками, воздвигнувшая неподалеку от них целые бастионы из книг, обернулась и посмотрела с укоризной. Девушка зажала рот белой ладошкой, но не смогла сдержаться, снова прыснула.

– Это что, имя или фамилия? То есть, я хочу сказать, что имя, а что – фамилия? Или это вообще – прозвище?

Оскар пожал плечами. Он давно уже привык к таким вопросам.

– Оскар – имя. Пинт – фамилия.

– Странные они у вас.

– Ну почему же? Мой прадед, Чарльз Пайнт, приехал в заснеженную Россию с берегов туманного Альбиона. Там имя Чарльз мало кому кажется странным. А уж фамилия Пайнт – тем более. В России у него родился сын, которого он назвал Оскаром в честь великого писателя Оскара Уайльда. У сына тоже родился сын, которого он назвал — уже следуя русской традиции, потому что сам к тому времени порядком обруслел — в честь деда, Чарльзом. Или, чтобы было привычнее русскому уху — Карлом, хотя, на мой взгляд, имя Карл сильно попахивает баварскими сосисками с тушеной капустой. Фамилия тоже претерпела некоторые изменения — из Пайнта он превратился в Пинта. Коротко и звучно. Ну а Карл Оскарович Пинт, мой отец, недолго думая назвал меня Оскаром. Вот только не знаю, в честь кого: Уайльда или деда? Вообще-то, и тот и другой — достойные люди. Правда, у Уайльда была какая-то неразбериха сексуальной ориентацией, а девушка много пил — англичане говорят: «пил, как рыба», — но ни один из этих пороков мне не свойственен.

– Совсем-совсем?

– Нет, ну почему совсем? Я могу иногда...

И снова звонкий смех перебил его. На них стали оглядываться. Девушка закрыла лицо руками, плечи ее сотрясались.

– Нет-нет. — Пинт почувствовал, что и сам начинает смеяться. — Я не имею в виду уайльдовские штучки. Всего лишь пиво. Только пиво.

– Хорошо, что пояснили. А то я уже начала волноваться.

– Не волнуйтесь. Уайльду вы бы не понравились. — Пинт помолчал, решаясь. — А мне — очень, — после паузы добавил он.

К тридцати годам мужчина приобретает необходимый опыт в Сердечных делах, и Пинт не был исключением. Но сейчас он заметил, как тяжело дались ему эти простые слова. Слова чего? Признания? Да и не признания вовсе: просто он сказал, что девушка ему очень нравится, только и всего. Что в этом такого? И тем не менее сказать это было непросто, потому что девушка ему действительно очень нравилась, и то, что обычно звучало в его устах как банальное приглашение к любовному танцу, который двое исполняют в постели, взбивая коктейль из простыней, на этот раз приобрело первозданное значение, и оттого смысл этой короткой фразы, над которой он раньше даже не задумывался, изменился, стал больше. Это был тот случай, когда слово из звука превращается в плоть, Оскара потрясло это полузабытое ощущение — оказывается, простые слова могут так много значить.

– Как вас зовут?

– Лиза. Воронцова Лиза...

* * *

Лиза... Ее имя было легким и приятным, как прикосновение тающей льдинки к разгоряченному лбу. Раньше он часто размышлял, глядя на ее фотографию: как же ее могут звать? Каким должно быть имя у этого ангелоподобного существа? Странно, но «Лиза» никогда не приходило ему в голову, а теперь он думал, что ее не могли звать никак иначе.

– Лиза... — повторил он. — А меня — Оскар.

– Значит, вы — Оскар Карлович?

– Точно. Смешной англичанин, не знающий родного языка. Во мне одна восьмая часть английской крови, остальные семь — русские. Но русским я быть не могу — имя неподходящее. Англичанином — тоже. Не знаю ни языка, ни обычаев, ни традиций. Наверное, поэтому большинство считает меня евреем. В общем-то, я привык. Мой космополитизм генетически обусловлен.

Лиза улыбалась.

Пинт испытывал огромное облегчение оттого, что все произошло именно так: здесь, в библиотеке, его потрепанный гардероб почти целиком скрыт широкой столешницей, и даже когда рано или поздно ему придется вылезать из своего укрытия, у него будет готовое объяснение: книжный червь, человек не от мира сего, человек со смешным именем, для которого внешность – не главное.

Но было еще одно обстоятельство, которое его сильно радовало. Сегодня утром, выходя из дома, он положил в карман всю сумму, накопленную на новые джинсы, видимо, счел ее достаточной, хотя ТАКИХ дешевых джинсов не было даже в Александрийске. Оскар подозревал, что их вообще не существует в природе, но тем не менее тешил себя смутной надеждой найти что-нибудь подходящее. В конце концов, эти деньги никуда от меня не денутся. Не буду же я их тратить на ерунду.

Теперь он знал, на что потратит эти деньги. Он пригласит… ну, хотя бы попытается пригласить Лизу куда-нибудь: вокруг университетского кампуса полно недорогих кафе, закусочных и кофеен.

– А вы… Лиза… вы что-то здесь искали? Впервые он увидел, как улыбка медленно, словно догорающая свеча, гаснет на ее лице.

– Мне надо найти одну рукопись. Это не здесь. Это в историческом отделе. Вы… – И снова ее лицо озарилось: – Может, перейдем наконец на «ты»?

– Да. Да, конечно, – спохватился Оскар. Я сам должен был это предложить, в конце концов ведь я старше ее лет на десять. Черт! Промах за промахом.

– Ты поможешь мне ее отыскать? Этот вопрос поставил Оскара в тупик.

– Разумеется, помогу. Вот только… – Он пожал плечами. – Не хочу тебя расстраивать, но я ничего не смыслю в истории. То есть не то чтобы не смыслю. Не помню.

– Это не имеет значения. Главное – чтобы ты хотел мне помочь. Вот и все. Обещаешь?

Пинт нахмурился, выпятил нижнюю губу и торжественно сказал:

– Клянусь!

– Помни, – Лиза игриво погрозила ему пальчиком, – ты обещал!

Оскара вдруг охватило ощущение огромного счастья, так бывает в семнадцать лет, когда встречаешь свою первую любовь, когда смутное, до конца не осознанное влечение еще не знает точных путей своего осуществления, когда просто хочется постоянно быть рядом с любимым человеком, когда чувствуешь его, как продолжение самого себя, когда все впереди и ничья память еще не запятнана паскудными призраками других людей, их голыми животами, треугольниками лобковых волос, белыми рыхлыми задницами, странными привычками и кричевыми усмешками.

А ведь они ни разу не поцеловались, он ни разу не взял ее за руку, но уже был счастлив и благодарен судьбе за это пьянящее чувство: он, большой и сильный тридцатилетний мужчина, снова влюблен, как мальчишка!

– Лиза, – ему так нравилось повторять ее имя, – ты можешь во мне не сомневаться. Хочешь, поищем вместе?

– Да.

Оскар встал (странны, он вдруг забыл о лоснящихся брюках и пиджаке с пузырями на локтях, эти дурацкие комплексы бесследно исчезли), поставил Блюлера на место и протянул Лизе руку:

– Пойдем!

Он первый раз коснулся Лизы – с трепетом и замиранием, словно желая убедиться, что она действительно существует, что он не сам с собой болтал последние пятнадцать минут, что она не растает, как прекрасное видение.

Ее рука была холодной и слегка влажной. Он приблизился к девушке и украдкой вдохнул ее запах. В этом запахе было все: и свежесть утреннего тумана, и легкий аромат полевых трав, и едва уловимый оттенок мокрой листвы, и сладкая горечь ночного костра. Оскар почувствовал, что в этот самый момент с ним что-то происходит, он будто шагнул в бездонную пропасть и падает в нее, падает, без всякой надежды на спасение.

Он уже не был влюблен в Лизу. Он ее любил. Это иногда случается – с некоторыми счастливцами.

* * *

Исторический отдел библиотеки размещался в западном крыле.

Лиза шла мимо десятков стеллажей, поворачивала то направо, то налево, но всегда безошибочно, как судно, курс которого прокладывает опытный штурман. Наконец они остановились перед огромным, высиящимся до потолка, пыльным стеллажом из мореного дуба. На торцевой части была надпись из выпуклых, когда-то золоченых, а теперь наполовину стершихся букв: «Краеведение».

«Что может быть интересного в краеведении?» – подумал Пинт, но вслух сказать не решился.

– Здесь, – сказала она и показала на третью полку сверху.

Оскар прикинулся: просто так не достать.

– В следующем проходе есть стремянка. – Лизин голос звучал ровно и уверенно. – Принеси, пожалуйста.

Оскар принес шаткую скрипучую стремянку и с опаской залез на нее.

– Ищи, – Лиза говорила, глядя прямо перед собой, – толстую потрепанную тетрадь в кожаном переплете. На корешке нет никаких надписей, листы скреплены черным кожаным шнурком. Она должна быть седьмой или восьмой, считая справа.

Пинт внимательно посмотрел там, где она сказала, но ничего похожего на тетрадь в кожаном переплете не обнаружил. Тогда он стал осматривать всю полку, но результат был тот же.

– Я ничего не вижу. Здесь нет никакой тетради. А что там написано?

– История Горной Долины, – задумчиво, словно про себя, сказала Лиза. – Эти слова написаны на обложке. Собственно, только эти слова и можно прочесть, остальной текст зашифрован.

– Вот те раз, – удивился Пинт. – А ты знаешь шифр?

– У любой загадки есть ответ. У этой загадки – плохой ответ.

– Не понимаю. О чем ты говоришь? Какой ответ? – Пинт осторожно слез со стремянки.

Он чувствовал, что Лиза в этот момент далеко. Она была где-то в своих мыслях, и Пинту стало не по себе, она словно шла по карнизу навстречу лунному свету и не боялась упасть, потому что не видела грозящей опасности. Лиза говорила с кем-то неслышным шепотом, так тихо, что Оскар не мог разобрать ни слова, он только видел, как шевелятся ее губы.

– Лиза! – позвал он ее.

Лицо ее прояснилось, морщинки, прорезавшие чистый лоб, исчезли, губы дрогнули и приоткрылись. Она подошла к Оскару и обвила его шею тонкими белыми руками.

– У нас мало времени, – сказала она. – У нас его совсем нет, – сказала она еще тише. – И если мы оба этого хотим, то какая разница, кто начнет первым? Ведь так? – Пинт ничего еще не успел ответить, как она привлекла его к себе и медленно поцеловала в губы.

Оскар покачнулся и едва устоял на ногах.

– Почему? – спросил он, задыхаясь. – Почему у нас мало времени, любовь моя?

– Потому, что его никогда не хватает, – был ответ. – И никогда не хватит на всех.

Пинт не знал, плакать ему или смеяться. Он был на грани помешательства: он даже не представлял, что такая юная, свежая, чистая девушка может быть такой мудрой и уверенной. Не опытной, нет, упаси боже – опыт предполагает ИСТОРИЮ и бездумное следование готовым стереотипам, – но мудрой и уверенной. Он чувствовал себя раздавленным: глупым юнцом, готовым броситься к ее ногам и разрыдаться от счастья, полить их слезами, а потом высушить поцелуями, раздавленным, но в то же время счастливым. Таким счастливым, каким не был никогда.

Он был старше Лизы на десять лет, выше ее на голову, весил почти вдвое больше, но почему-то ощущал себя маленьким заблудившимся мальчиком, который наконец вышел из темного леса и попал в нежные материнские объятия. И, что еще более странно, он совершенно не стеснялся этого.

Глаза его наполнились слезами, он крепче прижал Лизу к себе, чтобы она этого не заметила, и дрогнувшим голосом произнес слова, которые рвались наружу. Очень простые – и очень глубокие слова, таинственные, как заклинание шамана, и загадочные, как слабое мерцание в черной глубине пещеры:

– Я тебя люблю.

Лиза тихо вздрогнула. Она слышала. Она поняла. Пинт не позволил ей высвободиться.

– Пойдем ко мне.

И снова легкая, едва уловимая дрожь, которую Пинт расценил как согласие.

Он повел ее к выходу, все так же крепко обнимая, прижимая к себе, словно сокровище, которое внезапно обрел после долгих лет тяжелыхисканий. Он не мог отпустить ее ни на миг. Он боялся ее отпустить.

* * *

Пинт жил один в маленькой однокомнатной квартирке на окраине Александрийска. Квартира была ему явно не по размеру: потолок он доставал рукой, в коридоре с трудом пропискивался, в кухне не мог развернуться, а в ванну ступал прямо с порога. Не по размеру, зато вполне по карману – это очевидное достоинство перевешивало все недостатки.

Но сейчас ему казалось, что нет ничего прекраснее этих двадцати двух метров, потому что здесь была Лиза. В любом углу, в самом дальнем закоулке он ощущал ее дурманящий запах и ее теплое дыхание. Он подхватывал это дыхание и никак не мог им напиться.

Он и она, и больше – никого. Пинт чувствовал себя абсолютно счастливым, он знал, что достиг предельной точки, выше которой уже не будет. Он был настолько счастлив, что совершенно забыл о том, что Бог дает всем поровну.

И о том, что за все приходится… нет, не платить… но расплачиваться. Всем и всегда.

* * *

Они не спали всю ночь. Они составляли единое целое. Стоило им распасться хотя бы на минуту, как некая таинственная сила, во много раз сильнее природного электричества, снова заставляла — их объединяться, сливаться вместе, стремиться друг к другу, как куски большого магнита.

Под утро Пинт уснул, а когда проснулся – Лизы уже не было. Она исчезла, как сон, слишком прекрасный для того, чтобы быть правдой.

Он метался по своей каморке, переворачивал мебель и заглядывал в холодильник, словно она могла спрятаться там и тихонько сидеть, дожидаясь, пока он ее найдет. Он бесился и рычал от ярости, но сердце его давила тоска, которой он не мог найти названия.

В ушах отдавались обрывки фраз, которые сказала Лиза: «У нас мало времени. У нас его совсем нет».

Он дважды успел сбегать в библиотеку, стоял за тем стеллажом, где они вчера искали тетрадь в кожаном переплете, и выбегал на каждый шорох, но добился лишь того, что насмерть перепугал своим видом каких-то девчонок, по виду – первокурсниц. Девчонки вскрикнули и убежали.

Кажется, я понимаю, что испытывает человек, когда сходит с ума. Возможно, мне это пригодится в дальнейшем... Если я окончательно не тронусь рассудком.

Пинт заперся дома и запил. Сильно и тяжело, как дедушка-алкоголик (вот и не верь после этого в наследственность). Он чересчур хорошо это помнил: дрожащие руки, пустую и изнуряющую рвоту по утрам, всклокоченные волосы и громадные мешки под глазами.

Он почему-то думал, что алкоголь поможет ему забыться, притупить боль потери – слишком быстрой и слишком незаслуженной. Но ничего не помогало. После первой порции ему становилось немного веселее, это так, и он наивно полагал, что дальше будет еще лучше, однако же... Нет. Боль нарастила. Мысли, освобожденные пивом, начинали метаться вокруг одного и того же образа – единственного образа, крепко засевшего в голове – и Пинт не мог успокоиться, пил до тех пор, пока не отключался совсем.

Он спал короткими урывками, просыпался оттого, что ему мерещился тихий стук в дверь, всакивал растрепанный, в холодном поту, и бежал открывать. Он распахивал дверь, но лестничная клетка была пуста...

Пинта удивляло еще одно странное обстоятельство – фотографии, которые он хранил как зеницу ока, тоже исчезли. Они лежали в ящике письменного стола, и он не успел сказать о них Лизе ни слова. Но они пропали.

Сначала Пинт думал, что переложил их в другое место. Он облизал каждый потаенный уголок своей квартиры, передвигал шкафы и диван, однажды, напившись до чертков, он даже начал отламывать кафель в ванной, но все было впустую.

Он все глубже и глубже погружался в непроглядную тьму безумия, каким и является настоящая любовь. В голове роились черные мысли: то, что раньше виделось ему подарком Судьбы, теперь казалось бесовским наваждением. И, самое страшное, – он четко осознавал, что не в силах ему противиться.

Иногда – редко – отравленный алкоголем мозг работал ясно, и он видел себя со стороны: опустившийся, небритый, опухший от бесчисленных литров пива, насквозь провонявший дымом дешевых сигарет. «Мания, навязчивая идея, бред на почве неразделенной любви».

Он вспоминал свои глупые фантазии, когда представлял, что встречает Лизу в приемном отделении, и усмехался. Теперь мы поменялись местами. Теперь я болен, и единственное, что может меня спасти, – намек, звук, видение, прекрасное и мимолетное. Запах, тень, голос, зыбкий образ, ЗНАК!

И к исходу мая он получил этот знак.

Он проснулся на рассвете. Он не помнил, во сколько уснул – точнее, отключился, – не помнил, сколько выпил накануне. Это можно было посчитать по пустым бутылкам, но штука в том, что он не выносил мусор уже несколько дней подряд, поэтому не знал, когда и что пил.

Он насчитал шестьдесят восемь пустых бутылок и банок и остановился. Язык царапал небо, как рашипиль, и с трудом умещался во рту, от Пинта воняло – именно ВОНИЯЛО! – чего раньше он никогда себе не позволял.

Желая до конца насладиться всей глубиной своего падения – испить эту чашу до дна, увидеть, во что может превратить рассудочного человека нежданное, разрушительное чувство, во много раз превосходящее пределы его телесного «я»! – Оскар подошел к зеркалу.

Сегодня обязательно что-то случится. Иначе не стоило и просыпаться, лучше мне было сдохнуть во сне, жалея лишь об одном, – что я не могу сделать это у ее ног!

И когда он подошел к зеркалу на чужих, словно ватных, ногах, с трудом сдерживая ставшую такой привычной тошноту, то увидел ЗНАК. Сначала Пинт подумал – той частью рассудка, которая еще была жива, которая отсчитывала в магазине деньги за пиво и заставляла его вставать в туалет, чтобы не испоганить и без того грязную постель – что это галлюцинация, верная спутница «белочки», что это просто счастливый сон, милосердно дарованный ему великодушным ПРОВИДЕНИЕМ.

Он надул щеки, подергал себя за волосы, до боли скжал пальцами нос. Отражение в зеркале послушно повторяло все его действия, оно насмешливо – и немного презрительно – говорило ему: «Да, черт возьми, ты не спишь! Ты в полном дерьме и понимаешь это, но ты не спишь!»

В левом нижнем углу зеркала непонятно каким чудом держался кусочек фотобумаги размером три на четыре. Один из тех шести, что были – и сейчас он очень хорошо понимал это, даже лучше, чем «дважды два – четыре» и «пятью пять – двадцать пять», – САМЫМ БОЛЬШИМ СОКРОВИЩЕМ в его жизни. Жизни, которую он привык считать наполовину прожитой и наполовину состоявшейся. Оказалось, что жизнь не бывает прожитой и состоявшейся НАПОЛОВИНУ. За все надо расплачиваться. За все и всегда.

Странно, но эта мысль не показалась ему грустной. Наоборот, в самой нижней точке своего падения он почувствовал, как к нему возвращаются силы. И он, безусловно, ДОЛЖЕН расплатиться. По самому большому счету, иначе все это не просто противно, не просто отвратительно и грязно, – это не имеет СМЫСЛА. Это просто НИЧТО. Он услышал пение «читы», хотя тогда еще не знал, что это такое.

Два дня Оскар пил молоко и тут же блевал свернувшейся простоквашей. Он часами стоял под душем – горячая вода, затем холодная! – сгоняя отеки. Он капал в глаза «Визином», чтобы прошла краснота, делавшая его похожим на кролика.

На третий день он пришел во врачебную ассоциацию.

Толстый меднолицый чиновник мельком взглянул на него, даже не оторвав жирную задницу от стула – станет он отрывать задницу по пустякам! Вот если бы «зеленые» в конверте! – и, неодобрительно вздохнув, произнес:

– А! Как же, как же! Давно пора! Ну что, Оскар Карлович? Аспирантура по психиатрии? Судя по весьма благожелательным отзывам и рекомендательным письмам… – но Пинт перебил его:

– Я передумал поступать в аспирантуру. Хочу врачом. В Горную Долину.

Он увидел, как чиновник наливаются краской, раздувается от удивления, но изо всех сил старается не показать этого.

– А как же?..

– У вас есть вакантное место в Горной Долине? Посмотрите внимательно.

– Как не быть? – обрадовался чиновник. – Вот уже… двенадцать лет или около того…

Но я не ожидал…

– Я поеду туда в августе. В конце, – отрезал Пинт и, обернувшись на пороге, добавил: – Спасибо.

Ему было наплевать на все, в том числе и на то, что подумает о нем чиновник. Потому что на обороте фотографии ровным каллиграфическим почерком было написано: «Девятнадцатое августа. Горная Долина».

Четырех слов было достаточно, чтобы засунуть все эти вздорные мысли о карьере, о жизненном благополучии, о

СЧАСТЛИВО СЛОЖИВШЕЙСЯ СУДЬБЕ – наиболее смешная мысль из всех возможных – туда, где солнце не светило.

Он вышел из кабинета чиновника с радостной улыбкой на лице: он считал, что поступает правильно. Даже нет, не правильно. Поступает так, как должен поступить. Пинт не видел другого выбора.

* * *

У него еще было время передумать – или укрепиться в своей решимости – два с половиной месяца. И все эти два с половиной месяца он готовился, и уже думал, что готов ко всему.

Но когда он наконец смог совладать с дрожью в руках и вытащил из-за рамки фотографию – черно-белую, размером три на четыре – силы оставили его. Пинт рухнул на колени, поцеловал кусочек картона, прошептал: «Лиза!» и заплакал навзрыд.

Сквозь потоки слез, текущих независимо от его воли – и откуда в человеке столько воды?! – Пинт с трудом разобрал слова, написанные на обороте (он почему-то чувствовал, знал заранее, что там будет что-то написано).

«Будь осторожен!» И ниже, буквами помельче: «Угол Молодежной и Пятого».

Он еще раз поцеловал фотографию и тихо повторил: «ЛИЗА! ЛИЗА!»

* * *

– Хороший денек! – Васька Баженов подмигнул кому-то: скорее всего, самому себе, потому что настроение было отличным. – Сегодня Робин Гуд настреляет столько дичи, сколько захочет. Вечером, у костра, он будет угождать друзей-разбойничков жирными утками. Никаких ножей и вилок, мы будем разрывать их руками и запивать старым добрым элем!

В заднем кармане штанов лежала новая рогатка, еще лучше прежней. Ну и что, что мать надавала подзатыльников, а отец пригрозил выпороть. Уж кого не стоит бояться, так это отца: он только говорит, но Ваську еще ни разу пальцем не тронул. И потом, отец сказал вполне определенно: «Если узнаю, что ты разбил хотя бы одно окно... Выпорю». Ведь он не сказал: «Если узнаю, что у тебя есть рогатка», потому что знал наверняка: у Васьки она есть. А окна... Что они, дураки малолетние, по окнам стрелять?

– Да уж... Эти чертовы жирные утки... У них такие жесткие перья, что обычными стрелами не пробьешь. Нужны шарики от подшипника. – Петя Ружецкий шмыгнул носом и провел пальцем по верхней губе: той самой, на которой так замечательно будут смотреться густые черные усы. Пока вместо усов оставались только грязные разводы. – И вообще, надо было надеть резиновые сапоги. В лесу сырь. Если я приду домой с мокрыми ногами, мать опять будет ругаться.

– А-а-а, хватит ныть, Малютка Джон. Она и так и так будет ругаться. Не обращай внимания. «Шарики от подшипника»... Да где же их взять? Если бы было такое место: приходи да бери, сколько хочешь. Но я что-то такого не припомню. Может, ты подскажешь?

Петя покрутил головой. Утреннее происшествие не давало ему покоя. Воспоминание о нем накатывало как-то странно, волнами. Он то забывал о случившемся, то вдруг ясно видел плевок черной светящейся слизи, лежащий в раковине. Ему было не по себе. Он словно предчувствовал что-то.

– Не знаю я, где их взять.

– Вот то-то и оно! Но Робин Гуд, как всегда, нашел выход! Он классный парень, этот Робин Гуд. – Васька прошел несколько метров, пританцовывая: так он был доволен собой и пришедшей ему в голову идеей. – Давай договоримся: увидим ворону... то есть, я хотел сказать, – утку, и будем в нее целиться вместе. А когда я скажу: «Огонь!», вместе выстрелим. Уж две-то стрелы должны пробить ее насквозь!

– Угу. Если попадем, – возразил Петя.

– Ну чего ты разнылся? – возмутился Васька. – Не попадем в одну, попадем в другую. В лесу уток хватает.

Мальчики встретились утром в условленном месте: на углу почты, и теперь направлялись по Кооперативной в

«дальний» лес. «Ближним» называлась роща, в которой под сенью вековых лип затаилось городское кладбище. Но... кладбище – не то место, где можно хорошо поиграть. «Вид могил навевает тоску. Там скучно», – говорили они, не желая признаваться друг другу, что главной причиной была вовсе не тоска, а страх. Неосознанный детский страх: того и гляди, за деревом увидишь покойника с раздувшимся зеленым лицом, а в пустых глазницах копошатся белые черви, он протянет костлявые руки и скажет свистящим шепотом: «Добро пожаловать, ребятки!» Бррр! Мороз по коже!

Поэтому «ближня» роща никогда не входила в число охотничьих угодий Робин Гуда и его верного спутника Малютки Джона, благородные разбойники обходили ее стороной.

Улица кончилась, и мальчики свернули на широкую тропинку, которая огибала липовую рощу слева. Если идти по этой тропинке, никуда не сворачивая, то попадешь в «дальний» лес.

– Смотри! – Васька ткнул пальцем в сторону кладбища. – Говорят, Кузя там гуляет по ночам. Знаешь, что он там делает?

– Ну? – Петя старался, чтобы его голос звучал как можно беспечнее, но на всякий случай ускорил шаг и приблизился вплотную к Ваське.

Тот выпучил глаза и сказал, завывая:

– Моги-и-иль раска-а-апывает.

У Пети вырвался короткий нервный смешок:

– Ерунда! Зачем ему раскапывать могилы?

– А ты подумай! – не унимался Васька.

– Ну? И зачем же?

– Он покойников ест! Отрезает куски и ест.

– Фу, дурак!

– Вот тебе и «фу»! Я слышал, как Капитон Волков на школьном дворе рассказывал. Он сам видел, как Кузя ест мертвецов.

– Ну да! Врет он, твой Капитон.

– А с чего бы ему врать?

– Да просто так, пугает малышей. Он любит всех пугать. – Петя разозлился. – Я знаю, что там Кузя делает: мне отец говорил. Он ходит по могилам и где увидит – водка в стакане стоит, сразу выпьет. А в стакан воды наливает, чтобы никто ничего не заметил.

Васька быстро соображал: красивая и, главное, страшная легенда рушилась прямо на глазах. Он остановился и обернулся к Пете:

– Ну да, положим, водку он пьет. А закусывает-то чем? Еще до того, как он услышал Петин облегченный смех, Васька понял, что и эта версия никуда не годится.

– Ха-ха-ха! – смеялся Петя. – Да любой дурак знает, что Кузя никогда не закусывает. Он у нас во дворе компостную яму перекапывал, так мать ему за работу чекушку вынесла. Кузя выпил, а закусывать не стал. Закуска, говорит, градус крадет. Понял? «Мертвецов ест!» Ты бы лучше отцу сказал, что у Капитона нож есть выкидной, с кнопкой. Ему брат с зоны привез.

Васька надулся:

– Я не стукач. Пусть отец сам увидит и отберет. А я жаловаться не буду.

– Смотри, когда он кого-нибудь зарежет, поздно будет.

– Ну а чего ты сам не скажешь?

– Не знаю. Он же твой отец, а не мой.

– А ты скажи своему, а твой скажет моему.

– Да не... – Петя поморщился. – Ябедничать... это как-то...

– Ну, вот и все. Пошли дальше. Братья-разбойнички небось заждались нас... С добычей. Сидят голодные и приканчивают вторую бочку эля.

– Слушай, а эль крепче водки? Или нет?

Хороший вопрос. Он на минуту поставил Ваську в тупик. Интересно, а что можно ответить, если в свои десять лет он не пробовал ни того, ни другого? Но... на то он и Робин Гуд, чтобы найти ответ на любой вопрос.

– Отец говорит, что крепче Белкиного самогона ничего нет.

– Значит, эль слабее?

– А сам-то ты как думаешь? Наверное, слабее, если его пьют бочками. Он такой... вкусный. Немного даже сладкий.

– Ты что, пил?

– Да... отец как-то раз привозил из Ковеля, – не моргнув глазом соврал Васька. И, чтобы поскорее уйти от скользкой темы, добавил: – Я, когда вырасту, буду пить только эль. А ты?

– Я тоже. Разумеется.

Мальчишки, не сговариваясь, бросили последний взгляд на кладбище и прибавили шагу. Там, впереди, их ждало настоящее мужское развлечение – охота. И какая разница, что вместо луков – рогатки, вместо стрел в колчанах – мелкий щебень в карманах, а вместо уток – вороны? Охота есть охота. Мужское дело.

Через полчаса они миновали хижину Лесного Отшельника – Ивана. На всякий случай держались от хижины подальше. Все знали, как ревностно Малыш охраняет свою территорию.

Но сегодня не было слышно ни звука. Пустой дом, обнесенный хлипким заборчиком, стоял, погруженный в тишину. Лишь густые ветви деревьев тревожно шумели в вышине.

– Хорошо, что пса нет, – заметил Робин Гуд. – Он мне в прошлом году штаны порвал. Мать тогда орала! Страшное дело! Говорила отцу: пристрели ты этого чертова кобеля, он же бешеный, на детей бросается!

– А отец чего?

– А отец сказал: никого стрелять не буду. Иван один живет. Ему без охраны нельзя. В городе Малыш никогда никого не кусал, а если кто-нибудь по глупости лезет к Ивану в дом, то это его личное дело.

– Молодец! – сказал Петя с восхищением. Вот у Васьки отец так отец. Шериф, самый настоящий, не какой-нибудь там Ноттингемский, заклятый враг Робин Гуда и благородных лесных разбойников! А у него... Тоже хороший, но до Баженова ему далеко, это стоит признать.

И вдруг... Петя почувствовал словно шевеление в воздухе. Медленное, липкое, холодящее. Невесть откуда взявшийся голос сказал громко и отчетливо:

– Твой отец всегда с тобой, мальчик! И он верит в тебя-а-а-а... – Голос перешел на протяжный шепот, даже и не шепот, а какой-то шелест, вроде как сухая трава шуршит под ногами.

Петя оглянулся, пытаясь увидеть того, кто это сказал. Голос не был похож на голос его отца. И вообще ни на чей не был похож. Если уж быть точным, то это был и не голос вовсе. Непонятный, пугающий звук, который странным образом складывался в слова.

Петя застыл как вкопанный. Подошвы его намокших кроссовок – все-таки мать обязательно будет ругаться! – приросли к тропинке, он стоял, не в силах двинуться с места.

– Васька! – позвал он.

Дружок бодро шагал вперед и ни на что не обращал внимания. Он уже вытащил рогатку из кармана – Робин Гуд расчехлил свой верный лук и положил стрелу на тугую тетиву – и размотал длинные полоски жгутов. Жгут они в складчину купили с Петей в больничной аптеке. Этот хитрец Тамбовцев долго допытывался, зачем им жгут. «Как думаешь, расскажет?» – повторял потом Васька, боясь, что старый док доложит обо всем матери, а это означало неминуемый скандал и, может быть, даже трепку. Но Тамбовцев не проболтался: сколько он себя помнил, все поколения мальчишек Горной Долины покупали резиновый жгут именно для того, чтобы смастерить рогатку, и он никого еще не подвел. Он только сказал пацанам напоследок:

«Поаккуратнее. Не выбейте себе глаза» и прижал палец к губам, обещая хранить молчание. Они послушно закивали, и негласный договор был заключен: осторожность в обмен на молчание.

– Васька! – снова позвал Петя.

Васька оглянулся и увидел, что Петя застыл посередине тропинки в нелепой, искаженной позе – словно у него свело судорогой все мышцы. Робин Гуд, не раздумывая, поспешил на помощь боевому другу, а иначе зачем нужны друзья?

– Что с тобой?

Петя стоял, как охотничья собака, услышавшая в кустах шорох дичи: ноги напряглись, голова мелко дрожала. Из уголка искривленного рта стекала блестящая змейка слюны.

Васька перепугался – теперь уже не на шутку.

– Что случилось, Малютка Джон? Петя, да что с тобой?!

Все закончилось так же быстро и неожиданно, как началось. Напряжение в мышцах исчезло: мгновенно пропало, как пропадает в доме свет, когда перегорают пробки. Петя обмяк и присел на корточки. Он всхлипнул, беззащитно, по-детски, и привычным жестом провел по верхней губе. Черная полоса, совсем как усы у его отца, стала еще гуще.

– Васька, – Петя говорил дрожащим голосом, запинаясь, – ты слышал что-нибудь?

– Что я должен был слышать? – Васька подпрыгивал и крутился на месте, словно ему приспичило пописать на площади, заполненной народом. И то обстоятельство, что вокруг никого не было, ничуть не успокаивало его, наоборот, очень сильно пугало.

– Не знаю. Что-то… – В самом деле, что? Петя уже не помнил слова, которые произнес этот… голос. Что он сказал? Нет, не сказал. Такой голос не может говорить. Потому что он не может звучать. Он проникает прямо в голову, слова минуют воздух, попадают не в дырки ушей, а сразу под волосы, заставляя их шевелиться.

– Ты ничего не слышал? – с надеждой переспросил Петя.

– Нет.

– Значит… мне показалось.

– Петя… Малютка Джон. – Васька присел рядом и положил руку Петя на плечо. – Не бойся. Со мной тоже такое было. Когда я заболел краснухой. Температура была высокая, я ничего не соображал, и мне вдруг почудилось, будто на меня напала большая собака. Ух и орал же я! – Воспоминание об этом эпизоде почему-то успокоило Ваську, он перестал подпрыгивать и оглядываться. – Сам-то я не помню, как орал. Мать рассказывала. Но собаку помню хорошо. Здоровая такая. Черная. Слушай, может, ты заболел? Давай вернемся, а?

– Нет. – Петя улыбнулся, но Ваське эта улыбка показалась немного неестественной. Вымученной. – Нет, я в порядке. Пойдем дальше. Разбойники ждут добычи.

– Ну смотри. Тебе виднее, Малютка Джон.

Васька снова зашагал вперед, и Петя поплелся следом.

Но он знал, что на самом деле с ним далеко не все в порядке. Опять, как утром, к горлу подступила тошнота, и этот странный голос… А может, и не голос вовсе, просто листья шелестели на ветру?

«Наверное, это просто листья…» – утешал себя Петя, но в ту же самую секунду шелест снова проник в голову.

– …зря-а-а… надо слушаться же-э-нищчин… бешеного кобеля-а-а… – И неожиданно громко, так, что Петя запнулся на ровном месте и чуть не расквасил себе нос: – ПРИСТРЕЛИТЬ! ПРИСТРЕЛИТЬ! ПРИСТРЕЛИТЬ!

* * *

Шериф только сейчас заметил, что держит в руке потухший бычок. Кончики пальцев – указательного и среднего – пожелтели. Теперь он почувствовал и боль. Баженов взмахнул рукой, будто это могло что-то изменить, но конечно же было поздно. Жжение не прекратилось, наоборот, усиливалось по мере того, как он возвращался в реальный мир из мира своих воспоминаний.

И ведь он всегда чувствовал, да что там чувствовал – **ЗНАЛ НАВЕРНЯКА!** – что еще ничего не закончено. Что ОН обязательно вернется. ОН сам так говорил. Говорил и улыбался, и тогда, чтобы стереть эту гнусную улыбочку, размозжить ее, как змею об камень, уничтожить, испепелить, разорвать...

В голове у Баженова вихрем проносились различные картины и отрывки фраз. Словно пьяный монтажер вытащил из мусорной корзины обрезки пленки и склеил их как придется, не заботясь о смысле, звуке и изображении.

«Зовите меня Мики...» «Да какая разница, откуда я взялся. Я был всегда. И буду всегда...» «Мне нужна веревка. Крепкая веревка...»

И последние, финальные кадры, самые ужасные в этом ролике: полумрак лесной поляны, края заросли густым кустарником, а в середине – будто ощерившаяся в злобной ухмылке черная пасть. Лучи фонариков в руках мужчин выхватывают след. Примятая трава, вся в мелких брызгах крови. След от центра поляны тянется к деревьям. Мужчины, громко сопя и с трудом перевода дыхание, словно тащат что-то тяжелое, осторожно идут рядом со следом, стараясь не наступить в кровь. Щелкают предохранители ружей, мужчины замедляют шаг. Но, как бы они его ни замедляли, все равно они неотвратимо приближаются к кустам на краю поляны, сквозь которые просвечивает что-то белое, безжизненно болтающееся на толстом узловатом суку старого дуба. Они уже не идут, а крадутся, тихо матерясь и сплевывая под ноги, боятся спугнуть затаенную надежду, что это белое – вовсе не то, что они ищут. Просто показалось в темноте. Ободранный ствол. Да разве это может быть тем, что они ищут? Разве можно себе такое представить?! И вдруг все фонари, как по команде, обращаются именно туда, словно софиты в цирке нацеливаются на воздушного гимнаста, исполняющего смертельный трюк, и тогда все сразу становится ясно. В наступившей тишине хорошо слышен странный звук, будто лопается невидимая струна, так погибает последняя надежда. Справа от Баженова Валерка Ружецкий встает на колени и угрюмо рычит: его начинает рвать, долго и мучительно. Он орет – громко, на весь лес, выворачивая желудок наизнанку, и при этом ухитряется плакать и что-то бормотать. У самого Шерифа в голове все грохочет, он стоит в туннеле, прижавшись к стене, а мимо проносится нескончаемый товарняк, он громыхает и шевелит волосы, сотрясает все внутренности и притягивает, все ближе и ближе притягивает к себе, еще немного, и Шериф окажется на рельсах. Он чувствует, когда наступает этот момент, чья-то невидимая рука хватает за шиворот и безжалостно бросает вниз, и огромные чугунные колеса перемалывают его целиком, кость за костью. Он понимает, что никогда уже не будет прежним, что отныне и на всю жизнь у него – «дыра в голове». Единственное – и от этого делается еще страшнее – тот Кирилл Баженов, стоящий на поляне рядом с блюющим Ружецким и медленно оседающим в обмороке Серегой Бирюковым, еще не знает того, что знает нынешний Шериф. Тот, который не заметил тлеющую сигарету, пока она не потухла сама собой, подпалив ему пальцы. Физическая боль – ничто по сравнению с тем ужасом, который он сейчас испытывает. Потому что твердо уверен: это не финал. Он чувствует это – каким-то животным, звериным чутьем.

Баженов провел рукой по вспотевшему лбу, пытаясь остановить пленку, крутившуюся в голове. Поискан, куда бы выкинуть истлевший окурок. Заметил под раковиной маленькую

урну, прицелился, щелкнул пальцами. Окурок сорвался с пожелтевшего ногтя и, описав пологую дугу, врезался в пластиковую стенку корзины, перевернулся в воздухе и свалился на дно.

Надо было действовать. ПРЕДОТВРАТИТЬ. Он поймал себя на мысли, что если бы кто-нибудь попросил его сформулировать весь смысл оставшейся жизни, он сказал бы одно только слово: «ПРЕДОТВРАТИТЬ». И про себя бы добавил: «Любой ценой». Он считал, что однажды уже заплатил слишком высокую цену, выше которой просто нет.

Он пока не знал двух вещей. Первое: есть такая цена. Переступив черту, нельзя вернуться назад, черта – это не граница, это обрыв, и дальнейший путь лежит не по прямой, а отвесно вниз. «Уж коли объявился в ад – так и пляши в огне». И второе: он не знал, что жить ему оставалось очень немного. Гораздо меньше, чем он предполагал. И еще меньше, чем хотелось бы.

* * *

– Значит, так, Ваня.

Шериф не помнил, когда в последний раз называл Ивана Ваней. Им не приходилось вести задушевных бесед, "ведь они всегда стояли по разные стороны баррикад, и даже еще дальше. Они оба были в противостоянии со всем городом: обязанность Шерифа – поддерживать мир и порядок, поэтому Баженов старался подчинить себе Горную Долину. Иван же – наоборот, всячески противился городскому укладу жизни, он сам не хотел подчиняться Горной Долине.

– Иди к себе в хижину, запричь на все замки и запоры и сиди тихо, как мышь. Наблюдай: если вернется пес, утром мне обо всем доложишь. За мамонтовскую компанию можешь не беспокоиться. Они тебя не тронут. Волков проведет эту ночь в участке, остынет, подумает над своим поведением, а там посмотрим. Ну а если не подумает, я ему помогу. Так что иди и ничего не бойся. Понял?

– Понял. – Иван кивнул, встал со стула и, бережно держа на весу забинтованную руку, направился к выходу.

– Постой, – окликнул его Шериф. – Вилку возьми. Загляни в заведение, отдай Белке.

– Ага.

– Ну, ступай.

Шериф подождал, пока за Иваном закроется дверь, и повернулся к Тамбовцеву.

– Ну что, Валентин Николаевич? «Зеленоватое свечение из заброшенной штолни». Как вам это нравится? Дождались второго пришествия?

Тамбовцев тяжело вздохнул:

– Не знаю, Кирилл. Не знаю, что и подумать. Может, Ивану просто померещилось? Сплюну-то чего только не увидишь. А?

– Может быть... Но мне что-то неспокойно на душе.

– Почему? Смотри, – Тамбовцев развел руки ладонями вверх и растопырил короткие красные пальцы, ловкостью которых так восхищался Пинг во время перевязки, – десять лет прошло. Десять лет ЭТО дерзко провалялось там и не светилось. Чего это ему вдруг вздумалось устроить иллюминацию? – Казалось, он и сам не очень-то верил в то, что говорил. Просто хотел, чтобы это действительно было так: ничего особенного, светлячки на поляне. Или гнилушки... Или...

Но внутренний голос ехидно нашептывал: «Почему же ты не продолжаешь? Что таится за этим последним „или“? То, чего ты так боишься? Ведь верно? Именно это?»

– Как бы там ни было, проверить надо, – твердо сказал Шериф. – Сегодня вечерком я посмотрю, что там светится. Тамбовцев согласно закивал головой.

– Конечно, проверь. Я все-таки думаю, ничего особенного, – повторил старый док, но руки его предательски дрожали. И это не укрылось от Баженова. – Я бы пошел с тобой, но... артрит. Проклятый артрит. Боюсь, снова разыграется. В лесу так сырь...

– Не дрейфь, Николаич, – ободрил Шериф. – Б случае чего, я знаю, что делать. Опыт имеется.

– Ты бы все-таки... того, – заволновался Тамбовцев. – Не ходи один. Возьми напарника. Хотя бы Валерку Ружецкого. Вдвоем – веселее. И не так опасно.

– Нет, – отрезал Баженов. – Мне некого взять. Кроме нас с тобой, никто не знает, где ОН лежит. И что ОН на самом деле из себя представляет. И не должен знать. Понимаешь? Так что я пойду один.

– Ну, смотри. Ты все же будь поосторожней. Баженов отмахнулся.

– Само собой. – Он почесал переносицу. – Вообще-то, я сейчас о другом думаю.

– О чем?

– Предположим, – Шериф подошел ближе и понизил голос, словно боялся, что их могут подслушать, – что там действительно что-то есть. Ну, я имею в виду то, что мы оба с тобой подумали. То, чего мы больше всего... опасаемся. Понимаешь? Как бы нам предупредить ситуацию? Как заставить этих олухов, – он кивнул через плечо в сторону городка, – сидеть дома? Мало ли что, Николаич. Мало ли что... Береженого Бог бережет.

– Ну и как ты хочешь заставить их сидеть дома?

– Есть у меня одна мыслишка. Как считаешь, для бешенства сейчас сезон подходящий?

– Совершенно неподходящий, – уверенно ответил Тамбовцев.

– Это не важно. – Губы Шерифа раздвинулись в подобии улыбки. – Мы пойдем к Левенталю, заставим его включить свою чертову шарманку, и я объявлю, что в округе замечена бешеная собака. Попрошу всех жителей не выходить из дома и не оставлять без присмотра детей. А ты прочтешь лекцию на полчаса, такую, чтобы хорошенько пробило, до самой задницы. Чтобы все сидели дома. По крайней мере, сутки. Пусть в мокрых от страха штанах, но дома. Пока я все не выясню. Понял?

– Угу. – Тамбовцев кивнул. Идея с радиообращением казалась не такой уж глупой, если разобраться. Он уже прикинул основные моменты своей речи.

– Николаич, напугай их посильнее. В конце концов, бешенство – это цветочки по сравнению с... Ну, ты знаешь. – Баженов мог бы и не убеждать в этом Тамбовцева. Тот и сам прекрасно знал, что бешенство – это просто цветочки. – Кстати, этот новый парень из Александрийска... Как его там?

– Оскар Пинт, – подсказал Тамбовцев.

– Да, он самый... Дал же Бог имечко. Пусть остается здесь, обустраивается и все такое. С одной стороны, это хорошо, что он приехал. – Шериф не стал объяснять, почему, но Тамбовцев и так понял то, что Баженов боялся произнести вслух: если дело примет самый дурной оборот, то лишний доктор не помешает, напротив, очень даже пригодится. – А, с другой стороны, я ему пока не доверяю. Так что рано болтать языком. Воздержись, Николаич. Хорошо?

– Не знаю, Кирилл. – Тамбовцев в задумчивости покачал головой. – По-моему, ты не прав. Новый человек, образованный, порядочный, умный, – это по глазам видно. Тут важен свежий взгляд. Может, он со стороны увидит то, чего мы не замечаем?

Шериф молчал. Он боролся с сомнениями. «Дыра в голове» не давала покоя. Он привык подозревать всех и во всем. А этот новый доктор... Какого черта он приперся сюда? В такую глушь, куда добровольно никто ехать не хотел? Вдруг взял и приехал? Зачем? Истинной причины Баженов не знал, и оттого поступок Пинта казался еще более подозрительным.

Кроме того, Шериф привык справляться со всеми проблемами сам. Ему не требовалась помощь.

— Я так думаю, Николаич, что мы, конечно, пьем самое дешевое пиво. Это верно. Наутро у нас болит голова и пучит живот. Но мы никогда не сдаем бутылки. Понимаешь, что я имею в виду? Скажи ему про бешенство, и достаточно. Пусть сидит в больнице и будет готов ко всему.

— Да какое там бешенство, Кирилл, — укоризненно сказал Тамбовцев. — Его этим не прорвешь.

— Не важно. Ты скажи, он все равно услышит по радио.

— Ну да. Конечно.

— Жду тебя в машине. Поторопись, Николаич.

Шериф посмотрел на себя в зеркало, поправил шляпу. Затем взглянул на часы, прикидывая план дальнейших действий.

Сначала — к Левенталю. Потом — в участок, Мамонтов с Качаловым наверняка уже притащили этого козла Волкова. С ним придется попотеть, надо вправить парню мозги. Горная Долина — это не зона, здесь живут не по понятиям, а по законам, нравится ему это или нет. Надо, чтобы Волков хорошоенько это усвоил. Потом он заскочит домой, еще раз предупредит Настасью, чтобы носа за порог не высывала и Ваську не пускала. Потом... Надо бы еще заехать к Лене. Если дела плохи, Лена это почувствует. Шериф не знал как, но был уверен на все сто пятьдесят процентов, что Лена обязательно что-то почувствует.

Он колебался. Может, сначала — домой и к Лене, а потом уже — к Левенталю? Нет, нельзя. Ведь он — не просто Кирилл Баженов, частное лицо. Он — Шериф Горной Долины. И пусть он не носит шерифскую звезду и не клялся перед всем городком на Библии, но сути это не меняет. Он обязан защищать всех, и даже этого ублюдка Волкова, которого посадят под замок и продержат в участке всю ночь — или больше, если потребуется, — на хлебе и воде. Шериф называл это «чудо голодания». Он как-то видел у жены книжку с таким названием. Читать, конечно, времени не было, но смысл и так понятен.

Баженов еще раз внимательно посмотрел на себя в зеркало, выискивая страх, затаившийся в уголках глаз. Боится ли он? Баженов вспомнил слова Пинта, сказанные им в лесу: «Черт побери! Конечно, боюсь...» Вот и он, Шериф, очень боится. До тошноты. Но никто не должен это видеть, ведь если сам Шериф чего-то боится, значит, дела совсем плохи.

А дела, действительно, были ни к черту. Хоть стреляйся.

* * *

Тамбовцев в спешке поднялся (проклятая одышка, он уже восемь лет, как бросил курить, но легче от этого не стало, видимо, моторчик совсем слаб!) на второй этаж, в ординаторскую. Там он снял халат, достал из кармана расческу и зачесал волосы назад. Затем открыл шкаф, снял с плечиков пиджак, такой же коричневый и курганный, как брюки, и с трудом влез в него, наверное, то же самое испытала бы змея, вздумай она влезть в старую сброшенную кожу.

Разве пятнадцать лет назад, когда я покупал этот костюм, можно было поверить в то, что когда-нибудь стану таким старым и толстым? Конечно, я знал, что стану. Но поверить все равно не мог. Тогда мне было... Всего лишь пятьдесят. Блаженное времечко! Вернуть бы сейчас эти годы!

Тамбовцев подождал, пока успокоится сердцебиение, для верности даже осторожно стукнулся себя в левую половину груди, будто помогал изношенному насосу сделать мощное сокращение, послать кровь в самые отдаленные участки грузного тела.

Хорошо, хоть соображаю пока неплохо! Но это — не моя заслуга. Спасибо «spiritus vini», он, как метлой, вычищает холестериновые бляшки из сосудов. Безусловный плюс работы врача: спасая чужие жизни, можно и самому уберечься от маразма. За счет сэкономленного сырья. Минус в том, что спирт — дармовой, порой, как Одиссею между Сциллой и Харибдой, бывает

трудно маневрировать между маразмом и циррозом печени, сильное подводное течение сносит в сторону цирроза.

Он еще немного постоял, прислушиваясь к велению души. Течение и впрямь было сильным, а может, принять для вдохновения? Все-таки ему предстоит произнести речь. Да не простую, а прочувствованную. Воздействовать на умы горожан. Точнее, запудрить им мозги, но для их же собственного блага. Предупредить, как он уже сорок лет подряд предупреждал всех мальчишек, покупавших резиновый жгут в больничной аптеке: «Осторожней. Не выбейте себе глаза!» Мол, я все понимаю, ты покупаешь в подарок матери, потому что у нее на ногах – вздутые варикозом вены, ты собираешься в дальний поход и хочешь, чтобы жгут всегда был под рукой, если придется останавливать сильное кровотечение, но все же: «Осторожней. Не выбейте себе глаза!»

Именно это предстояло ему сделать сейчас. Предупредить всех жителей Горной Долины, чтобы они были осторожней. Почему? Да потому, что... Собака у нас, видите ли, бешеная объявилась. Ее, правда, никто пока не видел, но она есть. Бойтесь бешенства, сидите дома. А больше вам знать не положено. Да и ни к чему.

Тамбовцев открыл сейф. Там стоял шкалик со спиртом и мензурка. На столе – большой графин, накрытый стаканом. Тамбовцев налил мензурку до краев, а воды в стакан плеснул до половины. Вот уже тридцать лет, как он перестал пить водку, самогон, вино и пиво (заодно – лимонад и молоко). Спирт и вода. Чистый спирт, шумный выдох, и чистая холодная вода. Высшая ступень питейного мастерства. Панацея.

Тамбовцев понимал, что эта мензурка нужна ему не только – и даже не столько – для вдохновения, сколько для того, чтобы хоть немного отогнать липкий страх, кусавший сердце.

Жители Горной Долины прекрасно помнили, что произошло десять лет назад. Помнили и никогда не забывали об этом. Не забывали, хотя и не вспоминали. И пусть не вспоминали, но всегда помнили.

И только двое – Тамбовцев и Шериф – знали о случившемся гораздо больше остальных. Знали – и молчали. Шериф тогда сказал: «Док, обо всем знают только два человека: ты и я. Я никогда никому ничего не скажу. Поэтому, если вдруг по городу поползут слухи, я буду знать, что ты проболтался. Я буду в этом уверен на все сто пятьдесят процентов. И я...» – Тут он сделал паузу, а потом добавил: «Я приму меры». Шериф больше не сказал ни слова, не стал объяснять, что за меры он собирается применить к проболтавшемуся доку, но Тамбовцеву стало жутко.

Все эти десять лет он жил под двойным гнетом страха. Во-первых, он боялся проговориться. А во-вторых, несмотря на страх перед Шерифом, ему все равно очень хотелось проговориться. Рассказать обо всем умному человеку, который сумел бы понять и оценить истинную глубину ужаса, пережитого Тамбовцевым. Если бы он, конечно, поверил, Тамбовцев был не настолько глуп, чтобы ожидать от собеседника безоговорочной веры в свои слова. Да он и сам бы не поверил. Наверное, он бы рассмеялся и сказал: «Оставьте этот иррациональный бред. Я верю только в то, что вижу своими собственными глазами. В закон всемирного тяготения и в электричество, в пылесос и порох, в тушеную капусту и орбитальную космическую станцию. Но в то, что вы мне тут наплели, уважаемый, здравомыслящему человеку поверить – увольте! – никак невозможно». Да, он бы так и сказал. Возможно, это останавливало Тамбовцева в не меньшей степени, чем грозное предупреждение Шерифа. И все же он хотел, чтобы кто-то его выслушал. И поверил бы ему. Разделил бы с ним тяжкое бремя УЖАСА. УЖАСА, которому не было объяснения, но была причина.

Казалось, сейчас подвернулся такой человек: этот молодой врач, Оскар Пинт. Самая подходящая кандидатура... Да и случай, черт бы его побрал, тоже, к сожалению, подходящий. Но... Шериф запретил. Хотя... Если попытаться осторожно, намеками... Только дать понять, а уж об остальном он сам догадается. Нет... Вряд ли можно самому догадаться о ТАКОМ...

Тамбовцев вздохнул, взял мензурку в правую руку и, качнув головой, словно говорил невидимому собутыльнику «Будем здоровы!», опрокинул спирт в рот. Не торопясь, поставил мензурку на стол, шумно выдохнул и тогда уже залил маленький пожар водой. Чистой родниковой водой.

Еще до того, как спирт перестал клубиться в желудке, Тамбовцев почувствовал себя лучше.

А может, и впрямь, ничего страшного? Зря паникую? Кирилл – парень не промах. Он разберется, что к чему.

Тамбовцев одернул пиджак, втискивая висевший живот между полами, окинул ординаторскую хозяйствским взглядом, убрал спирт обратно в сейф и пошел вниз. Он еще должен предупредить Пинта.

Тамбовцев поднялся на крылечко докторского домика и постучал. Пинт открыл дверь не сразу. Выглядел он как-то странно: лицо было красным и даже... мокрым, будто от слез.

– Что с вами, коллега? – с опаской спросил Тамбовцев.

– Да так... Тут везде пыль. Расчихался. Аллергия, – ответил Пинт. – Ничего, Валентин Николаевич, не обращайте внимания, это пройдет.

– Ну дай-то бог. Оскар... – Тамбовцев замялся, вспоминая отчество нового доктора, не менее странное, чем имя и фамилия. Профессиональная врачебная этика – как он ее понимал – требовала обращения к коллеге только по имени-отчеству, и никак иначе. – Карлович, да-да, Карлович! Извините, запамятовал... Так вот, Оскар Карлович... Наш участковый, Кирилл Александрович Баженов...

– Проще говоря, Шериф, – улыбнулся Пинт.

– Да. Именно. Так вот, он просил вам передать, что в окрестностях городка замечена бешеная собака. Мы сейчас, – Тамбовцев торжественно повел рукой, было что-то мессианское в его жесте, – выступим по радио с обращением к народу. А вас я бы попросил остаться в больнице. Исполнять обязанности дежурного врача. Хорошо?

Оскару не терпелось поскорее добраться до угла Молодежной и Пятого – что бы это ни значило и где бы это ни находилось. Но, видимо, поиски следовало на время отложить.

– Конечно, Валентин Николаевич. Я буду здесь. Можете не волноваться: если кто-нибудь придет с вилкой в руке, я знаю, что делать.

– Благодарю. – Тамбовцев церемонно поклонился, алкоголь забирал его все больше и больше. – Мы с вами вечерком еще посидим, потолкуем за рюмкой чая. Как вы на это смотрите?

– С удовольствием.

– Ну вот и чудненько. Засим позвольте откланяться.

Оба доктора, и старый и молодой, почтительно кивнули друг другу.

Тамбовцев четко, по-военному, развернулся и щелкнул стоптанными каблуками. Пинта это слегка развеселило: настолько, насколько его вообще что-то могло развеселить в сложившихся обстоятельствах.

Тамбовцев направился к уазику, где его поджидал сидевший за рулем Шериф. Двигатель заурчал, и машина тронулась с места, большими колесами вздымая фонтанчики гравия.

«Бешеная собака...» Только сейчас до Пинта стал доходить смысл сказанных Тамбовцевым слов. «Откуда взяться бешенству в середине августа? Да еще в такую погоду?»

Похоже, Горная Долина продолжала преподносить сюрпризы за сюрпризом. Но думать об этом Пинту почему-то не хотелось. Он уже почти привык: всего-то за несколько часов, с тех самых пор, когда сошел с поезда на прогнивший дощатый перрон.

Он закрыл дверь домика на ключ и поплелся в больницу. В прозрачном пластиковом кармашке его бумажника теперь лежали две Лизины фотографии. Где-то были еще четыре. Где-то была сама Лиза. Совсем рядом, он чувствовал это. Но даже представить себе не мог, НАСКОЛЬКО она близко.

* * *

Франц Иосифович Левенталь был директором местной школы.

Помимо исполнения директорских обязанностей он преподавал математику, геометрию, физику, химию, биологию, астрономию и пение с рисованием.

Одним словом, Левенталь питал подрастающее поколение пищей духовной, правил на оселке обрывочных знаний их тупые головы и обильно удобрял недозревшие умы различными сведениями и фактами.

Затем его воспитанники заканчивали школу и попадали в лапы к усатой Белке. Процесс забывания, не в пример процессу познания, проходил гораздо быстрее и легче, видимо, спиртные пары служили для него катализатором. Конечно, и у Левенталя был в запасе козырь: лучший катализатор для процесса познания – это хорошая розга. Но... Твердые моральные принципы не позволяли ему эффективно использовать это средство.

В борьбе материального с духовным Левенталь проигрывал. Давно уже проиграл и признал свое поражение. Одно время он был близок к отчаянию, еще бы, признать бессмысленность своего существования не каждому по силам (хотя рано или поздно это предстоит всем), но Левенталь вовремя сумел найти спасительную отдушину.

Радио! Вот что увлекало его последние годы. Он не помнил, что именно натолкнуло его на эту идею, но идея, безусловно, была стоящая. Левенталь поговорил тогда с Шерифом и получил от него полное одобрение и поддержку.

В школе был радиоузел: маленькая каморка с примитивным пультом и серым пластмассовым микрофоном, перевязанным в трех местах голубой изолентой. Кроме того, в школе было три громкоговорителя, какие обычно вешают на вокзалах: один над входом и еще по одному на каждом из двух этажей.

Постепенно, за счет городских средств и школьного бюджета, их количество удалось довести до тридцати четырех штук – по количеству строений в Горной Долине, включая жилые дома и различные учреждения.

Левенталь самолично обходил каждый дом и прилаживал на столбе электрического освещения серебристый колокол, протягивал к нему тонкие провода и следил за исправностью аппаратуры. Шериф помогал внушением: «Если кто-нибудь испортит эту шарманку, будет покупать две, или я не я и можете звать меня Марусей! Понимаете, о чем я толкую?» Народ в Горной Долине был понятливый, и с Шерифом никто не спорил.

Ежедневно, в семь часов, в городке начиналось вещание. Сначала звучала музыка – каждый день новая, но обязательно легкая и жизнерадостная. Левенталь решил не открывать день гимном: крупные радиостанции делают это в шесть утра, так чего повторяться? К тому же он, сын репрессированного портного-еврея (Зачем? Почему? Это так и осталось для Левенталя загадкой: папа не стал шить лучше. Правда, и хуже не стал, что позволило ему вырастить и поднять на ноги трех дочерей и сына, злосчастного учителя, решившего посвятить жизнь делу народного образования и на пятом десятке лет горько раскаявшегося в своем, мягко говоря, необдуманном решении, уж лучше бы шил брюки), считал музыку гимна чересчур помпезной и слишком уж державной. Имперской. Теперь от империи не осталось и следа, а напоминать миру (и самим себе) о былом величии торжественными руладами казалось Левенталю нескромным. Все равно что громко нукать, вспоминая о вчерашнем обеде.

Радио Горной Долины было совершенно особенной радиостанцией.

Музыка сменялась городскими новостями (правильнее сказать – сплетнями, каждый мог прийти и ляпнуть что угодно, Левенталь всячески поощрял народную инициативу), новости – познавательными программами, которые вели учителя школы (на каждом лежало тяжкое бремя радиоповинности: учительница русского языка, литературы и домоводства вела часо-

вые задушевные беседы на тему: «Я помню чудное мгновенье...» и все в таком духе, учитель физкультуры и труда, успевавший также преподавать иностранный язык и историю, заведовал отделом спорта и в рубрике «Международная панорама» частенько предсказывал скорую гибель загнивающему капитализму, чем немало веселил народ, сам Левенталь пробовал вести юмористические передачи, но преуспел куда меньше учителя физкультуры), от познавательных программ плавно переходили к городским объявлениям («продаются поросыта, полутора месяцев от роду...» или «Света, я тебя очень люблю и поздравляю с днем рождения. Попробуй угадай, кто это говорит...»), объявления сменяла музыка и так до самого вечера, до девяти часов. С программой «Время» бороться было бессмысленно, понимал Левенталь. Почти как с усатой Белкой. У аборигенов Горной Долины не было иммунитета: ни против самогона, ни против останкинских вливаний.

Но Левенталь и не думал состязаться с первым каналом, борьба как таковая его больше не привлекала, радиовещание стало тем гвоздиком, на который он повесил истрепавшуюся иконку с надписью: «Смысл жизни».

В среду, девятнадцатого августа, все было как обычно: день начался с песни Юрия Антонова «Под крышей дома твоего». Трогательная песня, и мелодия красивая. Если разобраться, то в этой простенькой песне патриотизма куда больше, чем в абстрактных словесных нагромождениях гимна.

Антонова сменила группа «Мираж», ей на помощь пришла «Машина времени», которая сообщила, что «...дело дрянь, и лету конец...», Пугачева поведала миру, что, оказывается, «...жениться по любви не может ни один король...», и жители Горной Долины дружно посочувствовали нелегкой судьбе всех ныне здравствующих монархов, «Земляне» тосковали по траве у дома, и Сергей Бирюков вздрогнул в который раз, испугавшись, что когда-нибудь Шериф заметит у него в теплице кустики конопли. Словом, жизнь закрутилась и пошла своим чередом.

В восемь утра Левенталь обратился к «нашим юным радиослушателям» и порадовал их известием, что до первого сентября осталось всего ничего – тринадцать дней, считая сегодняшний. А почему бы его не считать, если он только начался и обещает быть неплохим? Директор школы поделился планами на следующий учебный год, обещал особое внимание уделить естественным наукам – то есть тем предметам, которые вел сам, торжественно поклялся с небывальным размахом провести (если вы мне, конечно, поможете, мои юные радиослушатели) рождественские гулянья, а весной – празднование Масленицы, и, самое главное, посулил взять самых достойных в археологическую экспедицию, которую планировал устроить сразу по завершении учебного года. Правда, он не стал особо распространяться на тему, куда собирается отправиться с юными археологами: вроде бы Троя уже открыта, в египетских пирамидах не протолкнуться, там искателей приключений так много, что они мочатся друг другу на ноги, правда, есть еще сокровища инков, но уж больно далеко они от Горной Долины. Даже если Белка выступит генеральным спонсором, денег хватит лишь на то, чтобы доехать до Москвы, съесть по паре вонючих беляш на Казанском вокзале и вернуться обратно. Но вонючие беляши – это не сокровища инков.

Левенталь пока не раскрывал карты, но считал, что рукава у него полны тузов. Его дело – заинтриговать, повысить таким образом успеваемость, а дальше пусть сами думают.

Потом в борьбу за чистоту человеческих душ, а заодно – и русского языка – включился Лев Лещенко, в миллионный раз пропев: «...соловей российский, славный птах...» Эта фраза неизменно коробила Левенталя.

Уж лучше бы он пел: «...соловей российский, весь в соплях...» И в стихотворный размер укладывается, и грамматически верно, да и по смыслу больше подходит.

На два часа была запланирована часовая передача Татьяны Александровны Золовкиной, той самой учительницы русского языка и литературы, она собиралась рассказать о несладкой жизни Максима Горького, особенно упирая на то обстоятельство, что даже на средиземномор-

ском острове Капри, среди агав и прочих тропических чудес ботаники, он ужасно тосковал по грязной и немытой России. Впрочем, «...немытая Россия...» – это уже Лермонтов, но по части обличения самодержавия он Горькому ничуть не уступал, и если следовать простой человеческой логике, то «Прощай, немытая Россия...» мог черкнуть с бодуна Горький, а Лермонтову – с его-то талантом! – вполне было по силам настроить неподъемный и неудобоваримый кирпич с надписью «Мать» на торце.

Но стрелки на часах показывали уже начало третьего, а Татьяна Александровна почему-то не торопилась.

«Опять небось на огороде закопалась, – с досадой подумал Левенталь. – Кроме своего огорода, ничего больше не видит».

Он хотел склониться к микрофону и строго сказать: «Татьяна Александровна Золовкина, вас ожидают в студии», но вовремя спохватился.

Золовкина пришла сама в половине третьего. Большая, красная, запыхавшаяся, она долго извинялась на удивление писклявым – при такой-то фактуре! – голосом: «Картошечку копала, Франц Ёсич! Картошечка хорошая в этом году, я вам принесу, сами попробуете».

Левенталь презрительно поджал губы:

– Я ем макароны по-флотски. Начнете не в два, как договаривались, а в три. – Золовкина согласно закивала, словно курица, клююющая пшено. Он всплеснул руками и сказал язвительно, обращаясь в пустоту: – Какое счастье, что мы не печатаем в газетах программу передач. С такими сотрудниками стыда не оберешься.

Он, конечно, преувеличивал. В Горной Долине не было газет – ни одной, как не было и самой программы радиопередач – он никогда ничего не планировал дальше чем на два дня вперед, но Золовкина заслуживала осуждения. И она его получила.

В три часа, разложив перед собой множество листков, исписанных мелким неразборчивым почерком, Золовкина начала рассказывать о нелегкой судьбине пролетарского классика. Иногда она сбивалась, хватала не тот листок, читала пару фраз, кашляла и говорила: «Извините», затем выуживала нужный и продолжала как ни в чем не бывало. В некоторых, особенно трогательных местах ее голос дрожал, а сама она утирала невидимые слезы, но именно это больше всего ценил Левенталь в ее передачах – безыскусный надрыв. Она так рассказывала о Горьком, что каждому становилось ясно: это не тот человек, чьей жизни стоит завидовать. Прожил он жизнь долгую и дрянную, а под занавес врачи-отравители напичкали его ядом, да так туго, что бедняга не смог его переварить и в страшных корчах отдал концы, не успев напоследок пропеть «Песню о Буревестнике».

Левенталь слушал ее и одобрительно кивал головой. Даже тот курьезный момент, когда Ленин в какой-то гостинице шупал у Горького простыни – не мокрые ли? – у Золовкиной выглядел как небывалое единение душ двух великих людей, проявление соображений высшего порядка, простым смертным недоступных. Примерно как восстание декабристов или расстрел двадцати шести бакинских комиссаров двадцать восемью героями-панфиловцами.

Золовкина, как всегда, хватила лишку: вместо часа она вещала час с четвертью. Левенталь к этому уже привык. Что за беда, в конце концов, радио Горной Долины не обязано пикать сигналами точного времени, радио – это не часы с кукушкой, это духовная пища. Или жвачка для ушей – кому как больше нравится.

В пять (или около того), громко топая ковбойскими "сапогами", в радиоузел ввалился Шериф. За ним, озадаченно улыбаясь, в дверном проеме показался Тамбовцев.

Левенталь повернулся к Шерифу, вопрос «какого черта вы сюда приперлись?», только в гораздо более мягкой форме, уже готов был сорваться с его губ, но Шериф поднял руку, словно ладонью хотел остановить ненужные словопрения:

– Срочное, сообщение!

– Срочное? – Левенталь сидел, обдумывая, что же может быть более срочным, чем концерт по заявкам, который он транслировал каждый четверг.

– Очень срочное, медленно, почти по слогам повторил Шериф и положил ему руку на плечо. Смысл этого жеста был понятен – слезай, дружок, освободи место.

– Ну что ж… Тогда, конечно… – Левенталь поднялся со стула, всем видом давая понять, как ему это не нравится. Попробовал бы кто-нибудь так поступить со Светланой Сорокиной… Или, скажем, с Евгением Киселевым во время эфира программы «Итоги».

Шериф занял освободившееся место, наклонился к микрофону, как лошадь, тянувшаяся за морковкой, подул в него, словно музыкант, прочищающий мундштук своей трубы, и громко сказал:

– Внимание! Жители Горной Долины! К вам обращается Ше… – он чуть было не назвал себя Шерифом, но осекся и замолчал. Все бы и так поняли, кто у микрофона, но прозвище Шериф было неофициальным, домашним, а Баженов хотел, чтобы его слова прозвучали официально и торжественно, как объявление об открытии XXVI съезда КПСС. – К вам обращается ваш участковый, Баженов Кирилл Александрович. Надеюсь, вы еще помните, что у вас есть участковый. Так вот. Я хочу предупредить вас. Вас всех. – Шериф голосом выделил «всех». – Пару часов назад на окраине города была замечена бешеная собака. Пристрелить ее мне не удалось, надеюсь, это просто вопрос времени. – Самое умное, что вы можете сделать в такой ситуации – сидеть дома и никуда не отпускать от себя детей. Пес может объявиться в любую минуту и в любом месте. Так что не испытывайте судьбу, она и так не слишком к нам благосклонна. Особенно, – голос Шерифа стал еще жестче, он поднял указательный палец, будто грозил кому-то, – я хочу предупредить тех добровольцев, которые, залив глаза, могут выйти на улицу с ружьями, чтобы маленько поразмыться. От вас никакого толку не будет, вы только перестреляете друг друга. Поэтому говорю сразу: если встречу кого-нибудь из таких горе-охотников, отберу ружье и разобью его на хрен. И еще кое-что разобью. Всем понятно? – Шериф выдержал паузу, будто выслушивал нестройный хор недовольных голосов. – Вот и хорошо. Женщины, придержите своих мужей дома, тогда я не буду мучиться выбором: в кого мне стрелять, и не буду тратить понапрасну патроны. Не волнуйтесь. Оснований для паники пока нет. Когда ситуация прояснится, вам объявят дополнительно. А сейчас, – Шериф привстал, не отрываясь от микрофона, он слегка наклонил голову вправо и пошевелил пальцами вытянутой левой руки, подзывая Тамбовцева, – перед вами выступит наш доктор, Валентин Николаевич Тамбовцев. Он расскажет вам о том, какая опасная болезнь – бешенство.

Шериф вскочил, привлек к себе Тамбовцева и зашептал ему в ухо:

– Давай, Николаич! Дави на газ, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Тамбовцев выпятил нижнюю губу: мол, понимаю.

Он, кряхтя, уселся на стул, нагретый Левенталем и Баженовым, прокашлялся, неспешно зачесал волосы назад и начал нараспев:

– Добрый день, дорогие мои! Хотя правильнее было бы сказать: «Добрый вечер!» Хотя нет – пока еще день. Ну, в общем, это не важно. А важно вот что. Может, кто-то из вас спросит меня: откуда это взяться бешенству в конце августа, когда и жары-то уже нет? А? А-а-а! Я вам отвечу. В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году… Мало кто из вас хорошо помнит то время, а я вот помню, словно это было вчера. Так вот, в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году, в Дубне, бешеный пес искал семерых человек. И все они сдохли… То есть, прошу прощения, те семеро – умерли. А восьмой, пес – сдох. И вы думаете, смерть их была легкой? Нет. Я вам сейчас расскажу, как мучается человек, укушенный бешеной собакой. Или шакалом. Или енотом. Или енотовидной собакой, но, по счастью, ни те, ни другие, ни третий в наших краях не водятся. Так вот, может показаться странным, что такая маленькая тварь может наделать столько больших бед…

Левенталь схватился за голову. Он понял, что Тамбовцева понесло, и, пока он не выгово-
рится, останавливать его бесполезно. Первые несколько минут он очень переживал из-за этого,
но потом, как всякий разумный человек, стал искать в происходящем положительную сторону.
Она, безусловно, была. Сообщение о бешеной собаке в окрестностях Горной Долины – это
же, как говорят в Си-эн-эн, «брейкинг ньюс». Проще говоря, сенсация, которой давно уже не
было на городском радио – с тех самых пор, как три года назад горел огромный сарай с сеном.
Потом, среди дымящихся головешек и сплавившихся металлических ферм, нашли два скелета
– женский и мужской. Их быстро опознали: жертвы тайной любви, Толька Курашов и Ирина
Рябова. И, хотя погибли они вместе, может, даже в один миг, хоронили их в разные дни. Вдова
Курашова, Наталья, на похоронах не плакала, зло зыркала по сторонам сухими глазами, а если
кто-то подходил выразить свои соболезнования, она только кривила в недобро усмешке бес-
кровные губы. На следующий день хоронили Ирину, так ее муж, Игорь, и вовсе на кладбище
не пошел: пил в одиночку у усатой Белки, приговаривая: «Так ей и надо, сучке!» Но правильно
говорили древние: «Время лечит раны». Не прошло и года, как обманутые – зато живые, не
обугленные – супруги сошлись и теперь живут счастливо, душа в душу. Игорь не пьет, с работы
сразу бежит домой, а там уже обед накрыт, да детишки за столом – две рябовские девчонки,
курашовский пацан, и еще один, Никита, общий. В общем, все хорошо: без огня не бывает ни
дыма, ни пожарных, ни обгоревших трупов, а иногда — и семейного счастья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.